

---

---

ЮРИЙ / *Лучшая  
лирическая проза*

# ПОЛЯКОВ

---

---

## ЛЮБОВЬ без мандата

---

- ◆ *Сто дней до приказа*
- ◆ *ЧП районного масштаба*
- ◆ *Как я был колебателем основ*
- ◆ *Небо падших*
- ◆ *Подземный художник*
- ◆ *Писатель без мандата*
- ◆ *Любовь в эпоху перемен*



Замыслил я побег... Лучшая проза Юрия Полякова

Юрий Поляков

**Любовь без мандата**

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Поляков Ю. М.**

Любовь без мандата / Ю. М. Поляков — «Издательство АСТ»,  
— (Замыслил я побег... Лучшая проза Юрия Полякова)

ISBN 978-5-17-137782-3

В новый сборник знаменитого русского писателя Юрия Полякова вошли его ставшие современной классикой повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба» и «Подземный художник», а также полюбившиеся читателям романы «Небо падших» и «Любовь в эпоху перемен». Острые темы, захватывающий сюжет, глубокий психологизм, отточенный стиль, тонкая ирония и утонченная эротика – вот узнаваемые черты прозы Полякова, никого не оставляющей равнодушным. А эссе «Как я был колебателем основ» и «Писатель без мандата» позволят вам заглянуть в творческую лабораторию автора, где рождаются бестселлеры. Прозу Полякова узнаешь с первых страниц – по социальной остроте, захватывающему сюжету, ярким метафорам, отточенному стилю, тонкой иронии и великолепному русскому языку.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-137782-3

© Поляков Ю. М.  
© Издательство АСТ

## Содержание

Сто дней до приказа	6
ЧП районного масштаба	55
Как я был колебателем основ	117
1. Проснуться знаменитым	117
2. Суровые нитки	120
3. Почему все рухнуло?	123
4. «Стой, кто идет!»	127
Конец ознакомительного фрагмента.	130

# **Юрий Михайлович Поляков**

## **Любовь без мандата**

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2021

## Сто дней до приказа

### I

*...Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи – прапорщика Высовень.*

– Вставай! Трибунал проспишь! – сурово шутит прапорщик.

За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчутся несколько солдат – зародыши будущей полноценной шеренги.

В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это – тик, следствие контузии, полученной в Афгане.

Рядом с замполитом томится наш комбат старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом вверенной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость – фуражку-аэродром, сооруженную в глубоко законспирированном столичном спецателье.

– Давай, Купряшин, давай! – брезгливо кивает мне комбат Уваров. – Спишь, как на первом году! Защитничек...

– А что случилось? – совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. – Тревогу же на завтра назначили...

Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает.

«Вот черт, – молча возмущаюсь я. – Второй день выспаться не дают!»

– В дисбате выспитесь! – обещает, вышагивая вдоль построенной батареи, старшина Высовень.

Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии.

– А что все-таки случилось? – спрашиваю я стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права «стариков».

Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое розовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гуще. Скажите пожалуйста, какой гордый! Дедушка Советской армии и Военно-морского флота! Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптерке – акция, как говорится, долговременная! Ладно, переживем.

Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?

\* \* \*

Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек, на табуретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Возле каждого табурета – две пары сапог: одна – стоптанная, побывавшая в ремонте, другая – новень-

кая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики», а наверху – молодежь.

Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня. Разговаривали молодые – Малик из взвода управления и доходяга Елин, заряжающий с грунта из моего расчета. Их койки приставлены вплотную, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разобрал каждое слово.

– Ты бы на сквозняк повесил! – советовал Малик.

– Я и повесил, – безнадежно ответил Елин. – Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот – до мозолей выкручивал! – И он показал однопризывнику ладони.

– Может, обойдется! – успокоил Малик. – Все-таки праздник сегодня!

– Кому праздник, а кому... – Елин не договорил и ткнулся лицом в подушку.

– Терпи, будет и твой праздник!

– Не хочу я, не могу! – почти крикнул Елин.

– Не хочешь – заставят, не можешь – научат! – убежденно ответил Малик.

– Ребята, мы будем спать?! – возмутился из-под одеяла рядовой Эвалд Аболтыныш, еще два месяца назад разгуливавший «по узким улочкам Риги».

Никто не ответил, а через минуту все трое затихли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как медным, служить до своего праздника, до своих ста дней!

Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим «паркером» с золотым пером, но так уж считается: сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных росчерков и наконец ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова:

*«В соответствии с законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» приказываю:*

*1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск в запас в октябре – декабре 198... г. военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 января 198... г.»*

Затем идет второй пункт – о новом призыве, а за ним третий:

*«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях».*

Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал «стариков» домой.

Через сто дней мой приказ!

Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнение будут раньше обычного и что на это имеются веские внутри- и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а «дембель», говоря словами старшины Высовеня, «неотвратим, как смерть»!

Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам. Под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и замполита полка. А ефрейтор Симаненок (он уволился весной) просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажио-

тажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симаненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного-единственного числа. Понятно от какого. И еще: выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расхोдившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету (ребята называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте.

Итак, узнав о приказе, «старики» мчатся в лес – ставить дембельские кресты, сколоченные доски или сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. Например:

**Мл. сержант Коркин А.Ф.  
1982–1984**

**Служи, сынок, как дед служил,  
А дед на службу положил!**

Главное – присобачить крест на дереве как можно выше. В прошлом году один «старик»-верхолаз грохнулся и попал не домой, а в госпиталь.

Вечером события разворачиваются следующим образом: у «стариков» к приказу всегда припасены трассеры и сигнальные ракеты, поэтому, как только стемнеет, то в одном, то в другом месте небо прошивают огненные пунктиры. Офицеры бранятся, принимаются искать виноватых, но больше для виду, ибо все понимают: таков давний солдатский обычай.

Но самое главное начинается после отбоя: «старики», которые с этой минуты становятся «дембелями», возводят всех остальных в очередные звания неписаной казарменной иерархии. Делается это при помощи обыкновенного уставного ремня. Каждый получает по конкретному месту столько ударов, сколько месяцев отдано родным Вооруженным силам.

Когда я учился в школе, у нас был преподаватель истории – жуткий зануда. Он всегда заканчивал урок предложением начертить «табличку на полстранички» и таким образом закрепить новый материал. С тех пор я могу свести к табличке все что угодно, даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет примерно так<sup>1</sup>:

Срок службы (в месяцах)	Наименование солдатского сословия	Права и обязанности
1–6	«Салага», «сынок», «дух» и т. д.	Обязан во всем беспрекословно подчиняться старослужащим
6–12	«Скворец», «шнурок» и т. д.	От «салаги» отличается только большим жизненным опытом и надеждой на будущие права
12–18	«Лимон», «черпак»	Руководит «салагами» и «скворцами», подчиняется «старикам»
18 — день приказа	«Старик», «король», «дед» и т. д.	Океан прав. Подчиняется только командирам, но с чувством собственного достоинства
День приказа — отправка домой	«Ветеран», «дембель» и т. д.	Гражданский человек, по иронии судьбы одетый в военную форму

<sup>1</sup> *Примечание:* отдельные детали и наименования могут варьироваться в соответствии с традициями той или иной части.

«Старик» – это сладкий сон после подъема (пока не придет старшина), это лучший кусок за длинным солдатским столом, это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом (за тебя колотят подошвами молодые), это полная свобода от мелкого быта и возможность полностью отдаться мечтам о «дембеле» (если надо, подошьет подворотничок или простирнет гимнастерку молодой), это... Это еще десятки различных привилегий, превращающих тебя в особое существо и придающих походке рассеянную величавость, а лицу – сонно-высокомерное выражение. Честно говоря, большинством этих прав я не пользуюсь – не по мне... Не могу, например, как ефрейтор Зубов, заставить молодого всю ночь стирать мое «хэбэ», а потом костерить за то, что гимнастерка к утру не высохла, хотя год назад то же самое проделывали с ним, Зубом. Но самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот насмерть перепуганный Елин станет неторопливо-суровым двадцатилетним «стариком» и будет гонять такого же ошалевшего парня – свое сегодняшнее подобие!

Но только ничего этого я не увижу: через сто дней приказ, потом самые томительные дни до отправки партии уволенных в запас, а потом... Я уже чувствую острый, волнующий запах «гражданки» и просыпаться, наверное, в последнее время стал так рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два года не пил газировку из фыркающего автомата, не бродил по осенней Москве! Почти два года... Неужели прошло два года?!

## 2

*Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?*

Выстроившись в две шеренги, мы стоим вдоль освещенных окон казармы. Над головой чернеет брезент ночного неба, весь в маленьких дырочках звезд. В окно видно, как замполит Осокин, дергая головой и наливаясь багровостью, распекает старшего лейтенанта Уварова, а тот молчит, играет желваками и вот-вот сломает маленький, искусно скошенный вниз козырек спецфуражки.

– Это не служба, а цирк зажигает огни! – ворчит старшина Высовень. – Прыгаешь, как клоун.

У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи.

– Товарищ старшина, – покачиваясь на мысках, ленивым голосом спрашивает рядовой Чернецкий. – Разрешите обратиться?

Валера Чернецкий, мой однопризывник, вычислитель взвода управления, пришел в армию со второго курса института, якобы по причине сложных философско-этических исканий. Но я почему-то думаю, призвался он в результате банальной академической задолженности.

– Обращайся, – разрешает Высовень, несколько удивленный и настороженный уставной церемонностью Валеры.

– В какой связи нас подняли? – интересуется Чернецкий. – Может быть, досрочно увольняют в запас?

– В честь ста дней! – добавляет Зуб.

– Домой теперь только через дисбат! – ласково повторяет старшина свою странную угрозу.

– Не нравится мне все это, – тихо вступает в разговор рядовой Камал Шарипов, наводчик нашего расчета. – Очень не нравится. Елки-моталки!

Когда два года назад мы познакомились с Камалом в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака, русский язык был ему почти неведом, а теперь Шарипов владеет великим

и могучим совершенно свободно и особенно полюбил сильные выражения, уходящие корнями в самые рискованные глубины народного словотворчества.

– А мне, мужики, сегодня дембель снился! – вступаю в общую беседу и я.

Но они словно не замечают меня. Ах, ну конечно, по приговору «стариковского» суда с этой ночи и до первой партии я поражен во всех правах и разжалован в «салаги».

А ведь странный был сон, какой-то вывернутый наизнанку! И Лена... Она не снилась мне давным-давно, с тех самых пор...

– Батарея! – зычно командует старшина Высовень. – Равняйся! Смир-рно!!!

\* \* \*

...Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем «по последней». Бабушка и тетя Даша помогали на кухне маме мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выломившийся из компании в самый разгар торжества, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещею мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался всего шаг.

Я пошел провожать Лену до метро. Технички, орудуя большими, похожими на телеантенны щетками, уже заканчивали подметать мозаичные полы. Взявшись за руки, мы стояли на платформе, ожидая, когда в тоннеле покажутся огни поезда, потом в последний раз поцеловались по-настоящему, и Лена вошла в совершенно пустой вагон. С резиновым стуком сомкнулись двери, молоденький машинист, значительно взглянув на меня, легко впрыгнул в кабину и крикнул кому-то: «Вперед!»

Вернувшись домой, я долго не мог заснуть и даже выходил на лестничную площадку покурить. Когда же я снова лег, в комнату заглянул отец и сказал:

– Ишь, разволновался. Подумаешь – два года! Раньше двадцать пять лет служили! Или ты из-за Ленки?

Недоумеваю, как это люди служили по двадцать пять лет, я уснул...

...Наутро, еще затемно, мама, отец и я пришли, а говоря точнее, прибыли на стадион «Замоскворечье». В моем кармане лежала изукрашенная печатями повестка, в которой говорилось, что я призван на действительную военную службу и зачислен в команду № 44. Кроме того, согласно повестке я был одет по сезону в исправную одежду и обувь (отцовское вытершееся пальто и старые суконные ботинки), имел короткую прическу, а также имел при себе пару нательного белья, полотенце, вещею мешок для укладки личных вещей, ложку, кружку и туалетные принадлежности. Кроме того, я имел бледный вид человека, которого уносит течением судьбы в неизведанном направлении.

Вокруг пульсировала толпа призывников и провожающих, напоминавшая народные гулянья в районном ПКЮ. Бренчали гитары, всхлипывали баяны, временами толпа образовывала круг, в который, визжа, как «скорая помощь», влетала какая-нибудь тетка и с частотой отбойного молотка исполняла неразборчивые частушки. Периодически кто-то взрывался «неплачь-девчонкой», но довольно быстро запутывался в словах. Волосатый парень рвал гитарные струны и пел заунывно-тоненьким голосом:

*Только две зимы, только две весны  
Ты в кино с другими не ходи-и-и...*

При этом он умоляюще поглядывал на ярко заштукатуренную подругу.

В толпе, где провожающих собралось в десять раз больше, чем провожаемых, призывника можно было узнать сразу: во-первых, по нелепой, словно из вторсырья, одежде, а во-

вторых, по выражению лица: «Мол, что же это делается? Жил – не тужил: работал, учился, в магазин бегал, на свиданки ходил... А что дальше будет?» Я выглядел как все, даже, наверное, еще хуже, потому что не было Лены. Даже в такой день она опаздывала. Но все обошлось – сначала приехал мой школьный товарищ Мишка Воропаев, а потом я различил в толпе грустное-прегрустное лицо Лены.

Мишка скорбно обнял меня, сказал несколько ободряющих слов моим родителям, а потом ненавязчиво обратил внимание собравшихся на тот факт, что прямо отсюда он поедет на занятия в институт. Тот самый институт, куда я недобрал полбалла. Потом все вместе мне давали советы, сводившиеся к тому, что ноги нужно держать в тепле и не брать ничего в голову. Мама ни с того ни с сего заговорила про какие-то гостинцы, словно я уезжал в пионерский лагерь, а не в армию. Какой-то дядька с красной, будто бы крапленой, физиономией, заслышав, как меня поучают, отшатнулся от своей группы и тоже дал совет: «Не разевай рта и не лезь куда не просят...»

Затем мои провожающие деликатно отошли в сторону, создавая условия для прощания с Леной. У нас все было решено: за два года подойдет очередь на кооператив, родители обещали скинуться. Кроме квартиры, все было совершенно определено и не вызывало никаких сомнений. Временами я чувствовал себя героем популярной песни «Лебединая верность». Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю (каждый день – это несерьезно!). Таким образом, получалось:  $2 \times 104 = 208$ . Через 208 писем я должен был вернуться. Это Лена здорово придумала – считать не дни, а письма! От нее я получил 38 писем, ровно по два в неделю... И хватит об этом!

Потом мы снова прощались все вместе, пока не появился офицер, подавший команду строиться. Уже в воротах я оглянулся и запомнил навсегда: ссутулившиеся родители, Лена с черной стружкой потекшей туши на щеке, Мишка, переминающийся с ноги на ногу и поглядывающий на часы.

Наконец, решительно и непоправимо оторвав от провожающих, нас загрузили в «КрАЗ» с брезентовым верхом и повезли в райвоенкомат, расположенный недалеко от стадиона. Поначалу мы молча тряслись и подпрыгивали на выбоинах образцового города, а потом вдруг откуда-то из полутьмы крытого кузова раздался нетвердый голос, предупредивший нас, что в военкомате первым делом будут шмонать на предмет спрятанного спиртного. Информация точная и получена от старшего брата этого самого нетвердого голоса... И тут же в разных местах дребезжащего мрака засветились огоньки, запахло горелой пластмассой и послышалось торопливое бульканье. В этот самый миг машина остановилась и, шурясь от яркого света, мы увидели друг друга: нас можно было принять за группу репетирующих горнистов.

– Не опузыртесь! – равнодушно посоветовал прапорщик, откинувший брезент.

Но что самое удивительное: у входа в военкомат совершенно в том же составе толпились провожающие. Я успел разглядеть маму, отца, Лену. Нас построили в длинном коридоре, основательно проверили вещмешки и радостно конфисковали бутылки со спиртным. Затем мы снова набились в грузовик и на глазах у провожающих поехали. Но это была военная хитрость. Повозив по городу, нас доставили назад к военкомату, где теперь не было ни души.

Потом, как ученики за партами, мы сидели в ленинской комнате, и пузатый капитан вручал нам военные билеты. У одного парня вышла какая-то заминка с оформлением документов, и ему было приказано прийти завтра. Мы глядели ему вслед так, как, наверное, смертники смотрят вслед помилованному. До последнего момента я надеялся на чудо и даже отчетливо представлял, как мчусь переодеться домой, потрясаю своим звонком маму и встречаю изумленную Ленку возле ворот техникума. Целый день вольной жизни! Кстати, мои надежды питал реальный факт: фотографию-то для военного билета я не сдавал...

– Купряшин!

Я подошел к учительскому столу толстого капитана.

– Алексей Николаевич. Все верно. Получи!

В билет была вклеена карточка двухлетней давности, когда я оформлял приписное свидетельство. Лицо на снимке, словно сознавая свою предательскую сущность, выглядело нагло-вато-смушенным...

Тогда мне казалось, я не забуду ничего, ни единой детальки. Но вот еще не прошло и двух лет, а многое уже выветрилось. Вообще, я заметил, что память сохраняет только как бы общее впечатление от происходящего и несколько ярких эпизодов, на которых это впечатление держится. И еще я заметил: в зависимости от того, как потом складывается жизнь, меняются и воспоминания – их держат уже иные, выплывшие откуда-то из глубины эпизоды. Не знаю, может быть, и я буду однажды вспоминать все это по-другому, не так, как сегодня...

...Двое суток мы сидели на городском пункте, где впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату ощущение несвободы, когда твое внутреннее состояние, настроение не имеют никакого отношения к твоему поведению, подчиненному теперь приказам командиров и начальников. И хотя некоторые ребята, рисуясь, говорили, будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно – хоть домой сбегать, конечно, никто ничего не предпринимал.

Вскоре прошел слух: деньги в часть везти нельзя – не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, обпиваясь «Байкалом» и обедаясь эклерами, изображая из себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета – рубль. Особенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии парикмахеров, расправлявшихся двумя-тремя движениями жужжащей машинки с самой роскошной шевелюрой. Клиенты все прибывали, а в углу парикмахерской росла метровая куча разномастных волос.

На городском пункте я познакомился с Жориком Плешановым. Ему родители дали с собой громадную жареную утку, а первое время домашней еды было у всех навалом, и он никак не мог найти помощника, пока не обратился ко мне. Поедая водоплавающую, мы рассуждали о жизни. Оказалось, Жорик закончил недавно полиграфический техникум, и все его раздумья о судьбе склонялись к одной мысли: государству невыгодно такого замечательного специалиста, как он, отрывать на целых два года от производительного труда. Очень скоро он убедил, что и в моем случае наше мудрое и гуманное общество совершило непростительную ошибку, не дав мне еще одну попытку для поступления в институт, откуда я несомненно вышел бы уникальным специалистом. Так незаметно мы чуть не впали в скверный пацифизм, но нашу беседу услышал какой-то офицер и объяснил нам командным голосом, что ни одна страна на военной мощи не экономит и что если мы в самом деле заботимся о выгоде государства, то сначала должны думать, а потом уже говорить...

К концу второго дня появился капитан с длиннющим списком, где были и наши с Жориком фамилии. Мы снова набились в машины с брезентовым верхом и через полчаса оказались в части недалеко от Центра. В военном обиходе это называется «карантин». Из окон казармы была видна муравьиная жизнь города, казавшаяся воплощением головокружительной, ничем не ограниченной воли. Армейский карантин, между прочим, ничего общего не имеет с карантинном, запомнившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя в общем-то нас, зараженных штатской расхлябанностью и легкомыслием, в самом деле нужно было подержать в изоляции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не убьют опасный для военного человека вирус «гражданки».

Карантин складывался из медицинских осмотров, экипировки, строевой подготовки и т. д. Помню, как, зазевавшись (обычное мое состояние до армии), я не успел вместе со всеми получить обмундирование и целый день мучился среди новеньких шинелей в замурзанном отцовском пальтеце, пока начальник карантина не приказал «одеть этого разгильдяя».

Ночью, после медосмотра, меня растолкал Жорик и сообщил, что, по разговорам, нас собираются загнать в такую глушь, где, кроме забора, нет никаких достопримечательностей.

Выход один – застрять в карантине до следующей партии, которую, по тем же слухам, должны направить в знаменитую дивизию, прошедшую с боями до Померании и со славой вернувшуюся в Подмоскowie. Как застрять, Жорик тоже знал: нужно симулировать какое-нибудь серьезное заболевание.

Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт военврачей. И Плешанова осенило! Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в «Здоровье» и слышанные от пострадавших симптомы спасительного недуга, а утром поскреблись в дверь врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать выстраданные нами приметы пикантной болезни. Седой, краснолицый капитан с золотыми змеями в малиновых петлицах слушал нас очень внимательно, сочувственно и даже задавал наводящие вопросы:

– И утром тоже?

– Утром особенно, – признавался Плешанов.

– Та-ак. А у товарища?

– И у товарища.

– Та-ак. А где же вы с ней познакомились?

– В кино.

– Та-ак. И адреса не знаете.

– Не знаем.

– Та-ак. А приметы помните?

– Конечно. Высокая, полная (Жорик выставил вперед два локтя). Справа, на нижней челюсти – золотой зуб.

– Зуб или коронка? – встрепенулся капитан.

– Зуб! – убежденно подтвердил мой приятель.

– А ты как думаешь? – Врач испытующе поглядел мне в глаза.

И тут с отчетливым ужасом я понял, что капитан давно обо всем догадался и просто-напросто издевается над нами. Подхватив недоумевающего Жорика, я попытался к двери, но, вопреки ожиданиям, военврач не стал нас ставить по стойке «смирно» и вызывать начальника карантина, а только спросил вдогонку:

– Швейка-то вы хоть читали?

– Читали, – ответил еще ничего не понявший Жорик. – Но давно, в детстве.

– В детстве нужно «Буратино» читать! – гаркнул капитан и пристукнул рукой по столу, зазвеневшему никелированными инструментами...

Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной нас вели мыться в пустые районные бани, и по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам, ища работающий телефон. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил, у моих было намертво «занято». В конце концов я дозвонился до Мишки Воропаева и загнанно объяснил, где находится наш карантин, а на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой и Леной, жалостливо смотревшими на меня.

– У вас, наверное, плохо кормят? – спросила мама у дежурного по КПП.

– Нормально кормят. Через два года он у вас ни в одни штаны не влезет! – успокоил офицер и попросил закругляться.

Он оказался прав: сегодня со всей ответственностью можно констатировать, что в армии я увеличился на два размера, и роскошные серые брюки «бананы», купленные перед самым призывом, теперь на меня не налезут. Как говорит старшина Высовень, хорошего человека должно быть много!

С едой связана еще одна история. На второй день карантина у меня потерялась взятая из дома ложка. Эта утрата, совершенно незаметная на гражданке, привела к самым тяжелым последствиям. Ели по команде, непривычно быстро. И когда, наконец дорубив порцию, сосед

отдавал мне свою до блеска облизанную ложку и я с бешеной скоростью начинал хлебать щи, раздавалась команда: «Встать!» Запихнув в себя самый большой ломоть (выносить хлеб из столовой не положено) и горько взглянув на недоеденное, я выходил строиться. С большим трудом мне удалось отыскать чью-то сломанную пополам супочерпалку с выцарапанными на ней словами: «Бери больше – кидай дальше!» Стянув сломанные концы нитками, я принялся наверстывать упущенное – черпать и так далее. Именно тогда стало ясно, что в армии нельзя разевать рот, разве только в двух случаях: когда ешь и когда стреляешь из пушки.

Еще был у нас в карантине чернявый сержант, и звали его почему-то «Паца» – наверно, из-за того, что сам он вместо «ш» произносил «щ» – «тущи свет». А между двумя рядами коек проходила выложенная керамической плиткой дорожка – «БАМ», которую постоянно кто-то мыл. «Паца» величаво прохаживался вдоль «БАМа» и зорко высматривал очередную жертву – процесс наведения чистоты не должен был прерываться ни на миг. Поводом могла послужить любая оплошность: сидишь на койке, жуешь в неположенное время, смеешься, тоскуешь и т. д. «Ты – моешь!» – сладострастно констатировал сержант и указывал черным ногтем на провинившегося. За неделю карантина я драил «БАМ» шесть раз...

Еще помню, как трудно и зябко было вставать в 6.00, шурясь на резкий ядовито-желтый свет, и, дрожа от озноба, стремительно одеваться, кое-как наматывая портянки, чтобы потом, после переключки, с неумелой аккуратностью перемотать их раз десять, но так и не добиться уставного результата...

А перед самой отправкой приехал фотограф, чтобы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе армейской жизни. Один добродушный «старик» любезно предлагал желающим сняться в его дембельском кителе – два ряда значков, твердые с золотыми лычками погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию, мне смешно и грустно: очень уж странное сочетание – растерянный взгляд, испуганно-заострившиеся черты и чудо-китель.

Никогда не забуду длиннющий, с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение «воины». Стюард показал рукой на кресла и сказал: «Ну что, воины, рассаживайтесь!» Я сначала думал, он смеется, но оказалось, это – официально принятая форма обращения к рядовому и сержантскому составу Советской армии. «Ну что, воин, поехали!» – сказал я себе, когда Ил-62, стремительно протрясаясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете.

### 3

*– Батарея! – зычно командует старшина Высовень. – Равняйся! Смир-рно!*

Из казармы медленно выходит замполит Осокин, он с тяжким укором вглядывается в наши лица. Следом за майором плетется комбат Уваров, похожий в своей суперфуражке на обивочный гвоздь. Выдвинув подбородок и морща тонкий нос, он пристально рассматривает наши сапоги.

Прапорщик мощным строевым шагом подходит к начальству и докладывает:

– Товарищ майор, шестая батарея по вашему приказу построена!

До срока пожелтевший лист, плавно вращаясь, опускается на черный погон командира нашей самоходки невозмутимого сержанта Титаренко. В другую пору его бы непременно пихнули в бок, мол, домой старшим сержантом поедешь! Но сейчас никто не обращает на это внимания, и только ласковый теленок Малик из молодого пополнения двумя пальцами, с почтением, снимает листик с былинного плеча сержанта.

Офицеры тихо совещаются. Мы терпеливо ждем мудрых приказов командиров и начальников.

– Слушайте, а может быть, нас хотят куда-нибудь перебросить? – испуганно шепчет наш каптерщик рядовой Цыплаков.

Цыпленок – приземистый парень, покрытый такими густыми веснушками, что они слились в большие желтые пятна. Кроме того, Цыпленок и двигается как-то по-птичьи: короткими, резкими рывками. Служит он восьмой месяц, но его лично знает даже командир полка, потому что Цыпленок в свои восемнадцать лет женат, имеет дочь, а кроме того, чуть ли не в день призыва заделал себе второго беби-киндера и теперь с нетерпением ждет, когда жена родит и его как отца двух детей уволят в запас досрочно.

– Ага, перебросят, – соглашается Шарипов. – Куда-нибудь повыше, где скребутся мыши!

– Парни, я же серьезно...

– Цыпленок, – вздыхает Чернецкий, – у тебя летальная дистрофия мозговой мышцы!

Если что – мы бы сейчас под полной выкладкой стояли! А ты бы еще ящик с патронами на горбу держал. Понял?

– Разговоры в строю! – прикрикивает старшина Высовень.

«Совет в Филях» закончился: замполит Осокин медленно идет вдоль строя. Высовень и Уваров, оказавшись рядом, с пониманием переглядываются.

Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:

– Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?

Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.

...И мне снова вспоминается вчерашнее утро.

\* \* \*

Наверное, я бы еще долго восстанавливал в памяти тот перелет из гражданской жизни в жизнь армейскую, но внизу, скрежеща пружинами и чертыхаясь, завозился Зуб. Он крутился так и эдак, сворачивался калачиком, перетягивал одеяло с ног на голову и обратно, но никак не мог согреться.

– Е-е-елин! – не выдержав мучений, застонал он. Ответом ему было молчание.

– Е-елин! – уже с раздражением повторил ефрейтор.

Но «салаги» спят как мертвые.

– Елин! – заорал Зуб и пнул ногой в сетку верхней койки, где лежал заряжающий. Тот испуганно свесился вниз:

– Чего?

– «Чего! Чего!» Не добудишься... Возьми у Цыпленка ключи и принеси из каптерки шинель. Холодно, вот чего!

Елин неумело, ударившись ногой о тумбочку, спрыгнул на пол, морщась, задвинул ноги в огромные сапоги и прогрохотал к двери.

– Тише, чудило, всю казарму разбудишь! – крикнул ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне, пояснил: – Вчера в кочегарке помылся, никак не согреюсь...

Между прочим, мыться у друзей-истопников под душем, а не в бане вместе со всеми – одна из «стариковских» привилегий.

– Холодно зато сегодня, – согласился я. – Зато праздник!

– Да, Лешка, сто дней! Скоро домой... Помнишь, когда дембеля свои «сто дней» отмечали, казалось, у нас такого никогда не будет! А видишь – дождались!

Пока мы беседовали, вернулся Елин, неся в руках сапоги:

– Цыплаков говорит, старшина не велел выносить шинели из каптерки!

– Передай Цыпленку, что я его убью! Понял?

Елин вздохнул и снова ушел.

– «Салаги» пошли бестолковые, – пожаловался Зуб. – Ни черта не понимают, спят на ходу...

Зуба я знал с первых дней службы и хорошо помнил, как он прославился на всю часть, уснув в строю во время праздничного развода, посвященного Дню артиллериста. А что выделял с молодым Зубом мрачный чечен Мазаев, уволившийся из батареи год назад!

Однажды, на заре нашей туманной армейской юности, я был свидетелем такой ситуации. Забегаю в казарму и вижу: мохнатая дембельская шинель распялена на швабре и прислонена к печке, а мимо этого чучела грохочущим парадным шагом курсирует Зуб и старательно отдает честь.

– Ты чего? – удивился я.

– Мазаев... – на ходу, держа равнение на шинель, объяснил он. – Я в бытовку не посту- чавшись вошел. Теперь вот до самого ужина...

Еще Мазаев любил «проверять фанеру» – бить молодых в грудь кулаком. Все мы в синя- ках ходили, а на Зубе вообще живого места не было.

Это было полтора года назад. А теперь все наоборот: молодым нет покоя от возмужавшего и посуровевшего Зуба.

– Распустились салабоны! – с пенсионерской угрюмостью продолжал Зуб. – Им бы сюда Мазаева, они бы жизнь узнали!

– Да ладно, – успокоил я. – Елин тебе полночи «хэбэ» стирал, а ты еще зудишь!

– Ну и что! А сколько я перестирал, сколько перегладил! Теперь его очередь! Ты, Лешка, молодых жалеешь, как будто сам «сыном» не был, – начал заводиться ефрейтор. Он бы еще долго нудил про «борзость» призывников, про пошатнувшееся единство ветеранов батареи, про наступление замполита на «права стариков», но тут вернулся с шинелью Елин.

– Тебя за атомной войной посылать! – заорал Зуб.

– Цыплаков забыл, куда ключи спрятал, – обидчиво оправдался посыльный и, словно ища поддержки, посмотрел на меня красными от недосыпания глазами.

– Ладно, свободен, – помиловал ефрейтор и, взяв шинель, стал устраиваться потеплее. – Если «хэбэ» будет мокрое – убью! – добродушно зевая, добавил он.

И Елин, который уже почти взгромоздился на свой ярус, обреченно вздохнул, тяжело спустился вниз и поплелся в бытовку...

Я снова остался один, на душе было скверно, и, рассматривая синевато-белый потолок, напоминающий бесчисленными трещинками школьную контурную карту, я постарался вспом- нить что-нибудь хорошее. И вспомнил...

Однажды мы поехали с Леной за грибами и, хотя лес ломился от опят, возвращались совершенно пустые, но с опухшими от поцелуев губами. В электричке мы рассматривали пере- груженных грибников и улыбались друг другу. От любви и свежего деревенского воздуха моя городская голова шла кругом; казалось, я слышу, как шумит бегущая внутри меня кровь.

Потом мы еще долго прощались возле Лениного подъезда. Прощались так долго, что я проспал на работу. Между прочим, перед самой армией, после неудачного поступления в институт, я немного поработал на заводе. После смены мы штурмовали автобус, останавли- вавшийся возле проходной, и всем скопом ехали до метро. Там толпа знакомых попутчиков уменьшалась, а на первой же пересадке рассеивалась вовсе. Домой я приезжал один. Это очень похоже на путь призывника в часть. Сначала вся партия прибыла в округ, и на сборном пункте мы ждали офицеров, набирающих молодых в свои части. Периодически возникали разговоры о том, что какой-то старший лейтенант подбирает ребят для спортроты: кормежка «от пуза», никаких нарядов, знай тренируйся! Пока шла прикидка своих спортивных возможностей и путем самовзвинчивания полученный давным-давно третий юношеский разряд превращался в первый мужской, выяснялось: искатель чемпионов уже набрал команду и уехал. Потом то же самое повторялось с художниками, танцорами и т. д.

До места назначения мы с Жориком шли неразлучно и уже строили планы совместной службы, как в самый последний момент судьба легким движением руки разрушила все наши надежды: я попал в арtpолк, Жорик – в дивизионную типографию.

Часа в три ночи мы въехали в ворота части, и сразу же нас отправили в баню – «смыть гражданские грехи», а потом, когда мы застлали койки, в казарму зашел полусонный, в накинутой поверх белья шинели младший сержант.

– Из Саратова есть кто-нибудь? – поинтересовался он. Никто не ответил. – Жалко! В третьей партии ни одного земляка нет, – расстроился гость. – Ладно, спите пока. Завтра службу узнаете!

Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обостряется почти исчезнувшее на гражданке чувство землячества. Земляк, по-солдатски «зема», – это близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня из неведомой подмосковной деревни Алехново и смотришь на него так, будто всю жизнь прожил с ним на одной лестничной площадке. Редкий старослужащий обидит своего молодого земляка, а уж если вы одного призыва, да еще с одной партией приехали – тут уже дружба до гроба!

На следующий день, как и обещал саратовец, мы узнали службу, потому что началась школа молодого бойца. Не забуду, как умирал во время первого кросса, как на перекладине мог изобразить только одно упражнение, которое прапорщик Высовень назвал «в лапах садиста». А строевая подготовка! Все время забывался и терял ногу, не понимая, зачем по команде «Карантин!» нужно отбивать ноги о брусчатку. Не понимал лишь до тех пор, пока все пятьдесят пар сапог не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым шагом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку. А строевые песни! Их не поют, а кричат, и особая прелесть заключается в том, чтобы, поравнявшись с карантинном другого дивизиона, перекрыть их слабую песню могучими раскатами нашей. Временами, если не вдумываться в слова, меня охватывало даже какое-то умильное и торжественное настроение, и, сам не замечая того, я пел на пределе своих голосовых связок.

Майор Осокин проводил индивидуальные беседы с молодыми воинами и предупреждал между прочим: если кто-нибудь из старослужащих будет отбирать личные вещи или обмундирование, заставляя что-либо делать не по уставу – срочно, в любое время суток, докладывать ему. А ночью, после отбоя, наставления замполита комментировал рядовой Мазаев. Он объяснил, что Осокин может лепить все что угодно – ему за это деньги платят и пенсию к сорока пяти годам дают. А мы – «сынки», – если хотим нормальной службы и счастливого возвращения домой, обязаны слушаться «стариков» и жить по незыблемым законам казармы, ибо армия – это не гражданка... В армии свои законы: год тебя дрючат, год ты дрючишь!

Но это я уже и сам понял. Новая жизнь навалилась, словно внезапная болезнь. Постоянно хотелось спать или есть, преследовал страх сделать что-то не так. И мои первые послания домой (обязательно перечитаю, когда вернусь) были полны такой безысходности, что испуганная мама собиралась даже написать гневное письмо министру обороны, о чем и сообщила мне. Я испугался и попросил этого не делать. В письмах к Лене я старался выглядеть эдаким отданным в солдаты поэтом, тем более что во мне с новой, какой-то болезненной силой вспыхнула остывшая еще в девятом классе страсть к стихоплетству. В голове заерзали рифмованные строчки, вроде таких:

*Если у тебя на сердце грусть,  
Помечтай про то,  
как я вернусь.*

Но самое ужасное, что эти стихи я посылал Лене. И еще в письмах к ней я канючил новую фотографию, старую кто-то свистнул, как мне объяснили, для дембельского альбома.

Еще очень хорошо помню, как впервые нас повезли на стрельбище. Я трясся в кузове, сжимая коленями АКМ, который перед этим неоднократно разбирали и чистили, причем после сборки у меня постоянно оставалась какая-нибудь лишняя деталь. И вот наконец я улегся на брезент, раскинув для упора ноги, поймал в прицел движущуюся мишень и, как мне казалось, очень плавно (на самом деле очень резко) нажал спусковой крючок. Автомат тяжело задергался в руках и заходил из стороны в сторону. В тире я всегда бил зверей без промаха, не мазал и на игровом автомате «Охота в джунглях», поэтому был совершенно уверен, что сейчас изумлю ребят и офицеров своей меткостью. Но поразить мне никого не удалось, так же как не удалось поразить ни одной мишени, зато чувство уважения к оружию, живущее в душе каждого мужчины с детства, было удовлетворено.

– Рядовой Купряшин стрельбу закончил! – гордо сообщил я, поднимаясь с брезента и неловко направляя ствол прямо в грудь старшему лейтенанту Уварову, в ту пору начальнику карантина. Он спокойно и немного брезгливо отвел автомат в сторону, покачал головой и процедил сквозь зубы:

– Защитничек...

А потом был день принятия присяги. Руки стыли на ледяном металле АКМ. У стола, покрытого красным, стояли офицеры дивизии, майор Осокин выкрикивал фамилии молодых солдат. Когда наконец подошла моя очередь, я, ужасаясь сделать что-то неправильно, заученными шагами вышел из строя; сжимая одной рукой приклад автомата, другой взял папку, куда был вложен текст присяги, и тоненьким от волнения голосом начал читать:

– «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников...»

Дойдя до строк «если же я нарушу эту мою торжественную клятву...», голос мой вдруг стал таким угрожающим, что офицеры тонко переглянулись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся... Труднее всего оказалось расписаться под присягой: негнушимися пальцами я взял ручку и поставил непонятный крючок. Когда присягу принял последний из молодых, карантин влился в общий строй и перестал существовать. Парадным шагом мы отправились на праздничный обед.

– Теперь ты настоящий солдат! – отечески хлопнул меня по плечу Мазаев. – Вешайся!

Иногда мне казалось, что все происходящее со мной – это словно бы кинофильм: вот сейчас, как иногда делают режиссеры, замелькают кадры – осень, зима, весна, лето... И появится титр: «Прошло два года». А вот следующий кадр: я звоню в дверь нашей квартиры, прислушиваюсь к шагам в прихожей, обнимаю ликующих родителей и, не снимая шинели, бросаюсь к телефону, набираю номер Лены и кричу натужно-приглушенным голосом, словно звоню издали при отвратительной слышимости: «Здравствуй! Как ты там?..» И Лена громко, стараясь перекрыть мнимые помехи, отвечает: «Нормально... У нас все нормально. Откуда ты? Когда вас отпустят?!» – «Через пять минут!» – отвечаю я чистым, громким голосом, слетаю вниз, хватаю такси и мчусь к ней!..

Ну вот, довспоминался. Скорей бы подъем! Уснул там, что ли, дневальный?..

#### 4

*...Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:*

*– Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?*

*Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.*

По шеренгам пробегает легкое жужжание: каждый прокручивает полученную информацию на своем коротко остриженном и покрытом пилоткой персональном компьютере.

Из темноты появляется библиотечный кот Кеша, хвост он держит строго перпендикулярно. Желтые глаза с узкими, точно прорези прицелов, зрачками смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что появился не вовремя, котофей трясет лапкой, делает уставной разворот и покидает наш батарейный плац.

– Нехорошая примета! – шепчет Шарипов. – Ядрить тебя налево!

Мы осознали серьезность ситуации и ждем продолжения.

– Хорошо, – хрипло говорит майор Осокин, хотя всем ясно, что ничего хорошего ни в вопросе, ни в ответном молчании нет. – Хорошо. Сообщал ли кому-нибудь рядовой Елин о намерении покинуть расположение части?

Майор смотрит прямо на меня, а комбат Уваров наклоняется к старшине и показывает глазами в сторону Зуба. Прапорщик Высовень очень характерно артикулирует губами.

Зуб ежится, делает попытку расстегнуть воротник гимнастерки, но вовремя спохватывается и снова встает по стойке «смирно».

– Ну что, силовик-наставник, доэкспериментировался? – очень тихо и очень зло интересуется Чернецкий.

– Достукались, дятлы, – соглашается Шарипов.

– Тихо! Потом будем разбираться! – шепчет сержант Титаренко.

Я чувствую плечом, как Зуба начинает колотить дрожь.

– Хорошо, – снова повторяет замполит и дергает головой, – значит, никто ничего не знает.

Пропал солдат – и никто ничего не знает! Хорошо-о...

В это время к отцам-командирам подбегает запыхавшийся лейтенант Косулич, наш взводный. Он недавно из училища, краснеет, как девушка, носит очки в золотой оправе и вопреки суровой армейской действительности старается выразаться литературно. Не добежав нескольких шагов до замполита, он переходит на старательный строевой шаг, набирает в грудь воздуха для доклада, но Осокин сердитым взмахом руки останавливает его и кивает на место рядом с собой.

– Слушай мою команду, – возвещает замполит, и эхо долго плутает между казармами, складами, ангарами. – Первый взвод прочесывает городок и автопарк. Особое внимание обратить на подвалы и ремонтные ямы. Старший – лейтенант Косулич...

Косулич облизывает румяные губы и поправляет очки.

– Второй взвод, – откашлявшись, продолжает майор, – прочесывает полигон. Особое внимание обратить на рощу. Старший – прапорщик Высовень. Общий сбор возле блиндажа. Докладывать через каждые двадцать минут. Выполняйте!

Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:

– Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!..

\* \* \*

Нет, дневальный не уснул, и вчерашний знаменательный день начался точно так же, как и большинство из шестисот восемнадцати дней моей солдатской службы. Раздался топот, запахнулась дверь, вбежал Цыпленок и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, завопил: «Батарея, подъем!» На мгновение все замерли, ожидая, не последует ли дальше многообещающее слово «тревога». Нет. Значит, наступил обыкновенный армейский день.

С верхних коек с грохотом ссыпались молодые. По неписаному казарменному уставу в их задачу входит: подмести и прибрать помещение, натереть до блеска пол, заправить свои, а также «стариковские» койки. Хитренький Малик побежал к дверям и встал на стреме, чтобы до прихода старшины ветераны батареи могли еще подремать.

Эти пятнадцать-двадцать минут полусонного счастья – наша генетическая память о тех сладко-ленивых домашних выходных днях, когда ты лежишь в дурманящей нерешительности перед необходимостью совершить выбор между запахом яичницы с ветчиной и женственным теплом постели... Но об этом ни слова!

Кроме дозорного Малика, наш заслуженный покой охраняет еще Цыпленок. «На тумбочке» он всегда стоит с таким видом, точно позирует для военздатовского плаката «Враг не пройдет – граница на замке!». А на самом деле толку от него никакого: все свои силы он вложил в производство потомства и ослабел голосом. Мертвый дистрофик чихнет и то громче, как говорит старшина Высовень.

Кстати, старшина рассказывал, что три года назад в батарее был солдат-сибиряк, будивший криком чуть ли не весь городок. Умение орать приходит не сразу: учась этому искусству, я в свое время чуть не сорвал голос, но зато теперь в случае чего могу гаркнуть так, что у самого уши закладывает. В армии, между прочим, все продумано, и забота о развитии голосовых связок молодого пополнения – тоже не блажь. Допустим, в неуставное время, как ветеран батареи, классный специалист и отличник всевозможных подготовок, ты прилег отдохнуть в койку, слегка закемарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он на порог, а тут как из пушки: «Товарищ старший лейтенант...» Морщась от раскатов рапорта, он узнает, что за время дежурства ефрейтора Стремина в батарее ровным счетом ничего не случилось. И к тому моменту, когда старлей заглядывает в казарму, ты сосредоточенно рассматриваешь, сидя на уставном табурете, солдатское евангелие – тетрадь для политзанятий. А на вопрос, почему занимаешься в спальном помещении, задумчиво отвечаешь, что-де зашел за тетрадкой, но вот зачитался последней его, товарища Уварова, политбеседой.

Итак, пока дневальный молчит, можно спокойно воспользоваться самым приятным, на мой взгляд, «стариковским» правом – полежать в теплой постели после подъема, сквозь полудрему следя за жизнью пробудившейся казармы.

– Е-елин! – раздался недовольный голос. Это снова проснулся Зуб. – Где Елин? – не унимался ефрейтор.

– В бытовке «хэбэ» гладит, – доложил Малик, посвященный в драматическую историю зубовского обмундирования.

– Позови быстро!

Преданно взглянув на сурового «старика» печальными одесскими глазами, Малик помчался выполнять приказ и вскоре воротился с победой, неся на вытянутых руках чистенькое «хэбэ», причем возникло такое ощущение, будто именно он, Малик, всю ночь, не смыкая глаз, стирал и гладил, радостно воображая, как суровый, но справедливый Зуб на «сто дней» вырядится во все чистое. Следом приплелся Елин, у него бледное веснушчатое лицо, голубые глаза, обиженные губы и странное имя – Серафим. Кажется, он единственный из пополнения никак не привыкнет к временной утрате шевелюры и на коварный совет причесаться перед проверкой неизменно начинает суетливо искать по карманам расческу. И еще: по моим наблюдениям, он болезненнее других воспринимает взаимоотношения между молодыми и «стариками», может быть потому, что перед армией работал пионервожатым (лучше бы помалкивал!) и привык руководить.

Зуб невзлюбил Елина с первого взгляда, со дня прибытия пополнения, когда бывший вожак красногалстучной детворы вошел в казарму не постучавшись, что недопустимо для воспитанного «салаги». Вообще я замечал, люди резко делятся на две категории: одни не могут жить без любви, другие – без ненависти; и те и другие мучаются, если не встречают человека, достойного того, чтобы вылить на него все накопившееся в душе. Зуб такого человека нашел, и мои попытки заступиться за Елина наталкивались на чугунный ответ: «Ничего. Пусть жизнь узнает. Ему положено!»

Слова «положено» и «не положено» определяют очень многое. Мне, к примеру, не положено спать во втором ярусе, а только – внизу. Зуб из-за этого меня буквально загрыз: я, видите ли, вношу путаницу в строгую армейскую иерархию. Но мне наверху нравится больше. Во-первых, теплее зимой, во-вторых, над тобой чистый, готовый в красках изобразить любую дембельскую мечту потолок, а не скрипучая продавленная сетка, в-третьих, с верхней полки, как с НП, видна вся казарма. Видно, как крутятся в тяжелом танце, натирая суконками половицы, молодые, а рядовой Шарипов, лежа на койке, задумчиво поучает:

– Трите так, чтоб гор-рэло! Распротак вас всех!

Видно, как заискивающий Малик поднес свежевыглаженное «хэбэ» скривившемуся Зубу: наверное, манжеты все-таки влажные. Видно, как, потупившись, орудует шваброй нескладный Елин. У него вид классического «сынка»: устало-беспомощное лицо, опущенные плечи, огромный – на три размера больше – китель, а голенища сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступах. Елин почти всегда молчит, но как-то несогласно молчит, со скрытым протестом, что ли... Это и бесит Зуба больше всего.

– Елин! Сюда иди! – скомандовал Зуб. – Сколько дней до приказа осталось?

– Сто.

– А до первой партии?

– Сто двадцать девять, – без запинки ответил Елин.

Позавчера он замялся, и я с трудом успокоил разбушевавшегося Зуба. Но сегодня ефрейтор удовлетворен ответом, даже на лице появилось нечто, напоминающее улыбку, и все-таки отвязаться от него не так-то просто:

– Принеси иголку.

Елин достал из-за отворота пилотки иглу с белой ниткой, а Зуб тем временем вынул из кармана маленький календарик с аэрофлотской блондинкой. У любого солдата имеются такие календарики, каждое утро протыкается очередное число, и если поглядеть на свет, то по количеству светлых точек становится ясно, сколько дней прошло, а значит – сколько осталось до дома. Мой календарик уже напоминает мелкую терку.

Зуб, победоносно кряхтя, проткнул новый день и снова впился в Елина:

– Койку заправь. Две минуты. Время пошло!

Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Но этого мало, по краям одеяло «отбивается», то есть его подвернутые края должны выглядеть, как стороны широкой обрезной доски. «Отбивка» наводится при помощи табурета и ребра ладони. Я и сам намучился, пока осваивал технологию. Сначала «отбивка» казалась мне жутким идиотизмом, и, сохранив это убеждение в целом по сей день, я все же должен признаться: если войти в казарму, где в ряд выстроились заправленные, с параллельными стрелками койки, а подушки взбиты и туго обтянуты наволочками, да при этом «гор-рыт» натертый суконками пол, – впечатление внушительное...

– Разве так заправляют, чудило! – Зуб раздраженно перевернул неумело убранный постель – плод стараний Елина. – Смотри и учись, Павлик Морозов!

Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку, молниеносно навел стрелки.

– Ровно минута! – полюбовался он своей действительно мастерской работой и снова перевернул постель. – Заправишь свою, а потом мою – для тренировки. Время пошло. Ну...

– Не буду, – чуть слышно проговорил Елин.

– Что?!

– Я вообще не понимаю, зачем это нужно...

– Что?! Что ты сказал?! А тебе и не нужно понимать, понял? Положено так. По-ло-же-но! – И Зуб, схватив «салагу» за ворот «хэбэ», встряхнул его с такой силой, что пуговицы градом застучали по полу: – Я из тебя борзость-то вытрясу! Понял? Понял?!

Но Елин только помотал головой.

Во время инцидента работа в казарме остановилась: молодые с безысходным сочувствием (лишь Малик с деланым осуждением) следили за подавлением бунта на корабле, но, разумеется, никто и не подумал заступиться за однопризывника – не положено. А ведь только один замерший со шваброй в руках двухметровый Аболтыныш, занимавшийся на гражданке греблей, мог бы хорошим ударом красного, в цыпках и трещинах кулака вбить Зуба в пол по уши; и случись Эвалду защищать того же Елина от какого-нибудь чужака, он бы так и сделал. Но поднять руку на *своего* «старика» невозможно.

У «стариков» реакция на происходящее неоднозначная: с одной стороны, их возмущает непокорность «борзого салаги», с другой – раздражает настырная жестокость однопризывника.

А Зуб крепко держал Елина за ворот изуродованного кителя и, судя по выражению лица, прицеливался, куда бы определить завершающую затрещину.

– Зуб, ну почему от тебя столько шума? – вдруг раздался утомленный голос Валеры Чернецкого. – Заколебал ты своей силовой педагогикой!

– Ничего, пусть жизнь узнает! – с клинической убежденностью огрызнулся Зуб.

Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в его игры, но это выше моих сил.

– Отпусти парня! – ласково попросил я прерывистым от наигранного спокойствия голосом и спрыгнул со своего второго яруса. Зуб повернул в мою сторону удивленную поросычью физиономию:

– Не понял!

– Вырастешь, Саша, поймешь! Отпусти его!

По казарме прокатился ропот удивления, который в театре достигается тем, что все начинают одновременно произносить одно и то же слово, например «восемьдесят девять». Но здесь ропот натуральный: «старики», да еще из одного расчета, ссорятся из-за «салаги». Невероятно! Зуб напряг свою единственную извилину, чтобы отбрить меня какой-нибудь язвительной шуточкой, но слова бывают иногда тяжелее, чем траки, каковыми ефрейтор качает бицепсы к дембелю...

– Смирно! – вдруг раздался вполне приличный вопль дневального Цыпленка, тут же подхваченный старательным Маликом.

В казарме произошла мгновенная перегруппировка: молодые принялись усердно наяривать пол, остальные катапультировались из коек и начали стремительно одеваться. Елин полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов! Офицеров случившееся не касается.

В казарму стремительно вошел своевременно обнаруженный старшина Высовень и, обведя полуодетый солдатский коллектив памятливым взглядом, крупнокалиберным матом выгнал личный состав девятой батареи самоходных артиллерийских установок на зарядку. А замешкавшемуся заряжающему из башни рядовому Купряшину врезал жесткой отеческой ладонью по мыслительной части, туго обтянутой сатиновыми трусами.

## 5

*...Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:*

*– Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!*

Это скомандовал майор Осокин.

Следом за офицерами мы возвращаемся в казарму. За окном ребята разбираются повзводно и порасчетно, обсуждая, кому где искать. Доносится голос старшины Высовеня:

– Ну что, чэпэшники, допрыгались? Замордовали парня...

Комбат Уваров, играя желваками, снова терзает свою фуражку.

Майор Осокин медленно обводит Зуба взглядом и брезгливо спрашивает:

– Так что у вас произошло с рядовым Елиным?

Зуб молча сопит в ответ. Возможно, вопрос обращен и ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить? Виноват, хотел предотвратить, встал грудью... Не получилось... А что получилось? Пропал солдат. Такое бывает: обиделся и просто убежал куда глаза глядят, а если не убежал...

– Что произошло? Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов?! – угрожающе повторяет замполит.

– Мы с ним поссорились... – вдруг как-то по-детсадовски взблеивает Зуб.

Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачивается.

– Поссорились... – горько передразнивает майор. – С таким бугаем поссоришься! За что ты его избил?

– Нет... Я только...

– Хватит! – обрывает Осокин. – Слушай меня, Зубов, внимательно: всю округу носом вспашешь, а Елина мне найдешь! Упаси бог, с ним что-нибудь случится! Ты меня понял?

– П-понял! – часто кивает совершенно раскисший борец за «стариковские» права.

– Иди!

Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает уж как-то боком.

– Ну, Купряшин, – переключается замполит на меня, – куда мог пойти Елин? Земляки у него в других батареях есть?

– Кажется, нет...

– С Зубовым ты из-за него дрался?

– Из-за него, – соглашаюсь я, лишний раз убедившись, что сбор информации у майора Осокина поставлен грамотно.

– Почему ко мне не пришел? – строго спрашивает замполит, хотя сам перестал бы меня уважать, прибеги я к нему с весточкой в зубах.

– Не успел, – вздохнув, отвечаю я.

– Не успел... Теперь, если что... Не успе-ел... Иди, догоняй своих...

Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:

– Товарищ майор, разрешите...

– Не разрешаю! – зло обрывает Осокин.

\* \* \*

Это на гражданке физкультура и спорт – твои личные трудности, а в армии это – важная часть службы, большое общегосударственное дело. Поэтому каждое утро над городком повисает топот сотен бегущих ног. Во всех направлениях – повзводно – ребята спешат на зарядку. Все эти ручейки, словно огромный темный водоворот, втягивает в себя полковой плац, по которому каждый день мы делаем несколько кругов. Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчатка переходит в асфальт, слабые, облегчая себе жизнь, держатся ближе к середине, и кажется, будто их затягивает водоворотом. Получив реактивное ускорение от могучей десницы старшины Высовеня, я полетел на зарядку.

...На этом плацу я когда-то задыхался после первого же круга, а подталкивающий меня в спину сержант поучал: «Не придуривайся! Это тебе не марш-бросок». И действительно, не будь ежедневных пробежек, первого марш-броска я бы не пережил: просто сердце взорвалось бы, как граната. Помню, перед самой командой «Вперед!», когда в последний раз пробуешь плечами тяжесть полной выкладки, кто-то сунул мне в руки каску – мол, на минуту, подержать. И тут все рванули... Я, как идиот, бежал, задыхаясь, с двумя касками и думал только о том, чтобы добежать и шарахнуть с размаху хитреца, облегчившего себе жизнь за мой счет, но о том, что каску можно просто-напросто бросить, я как-то не подумал...

Сделав нужное количество кругов по плацу, боковой дорожкой мы направились в спорт-городок, где под командой неумолимого Зуба молодые стали наращивать мускулатуру и качать прессы, а «старрики» разбрелись по любимым снарядам. Шарипов с гиканьем делал на перекладине «солнышко», здоровенный Титаренко жонглировал траками, Чернецкий изображал грациозные пируэты некоей восточной борьбы, а я, лениво пробежав полосу препятствий, остановил свой выбор на яме с песком, где меня и настигла задумчивость. А поразмышлять было о чем: конечно, я сделал ошибку, при всех связавшись с Зубом из-за Елина, нужно было поговорить потом, с глазу на глаз. И вообще, вся эта история мне не нравилась еще и потому, что была продолжением моих личных неприятностей и переживаний, ознаменовавших первый год службы. Помню, когда собирался в армию, больше всего боялся разных физических испытаний: думал, вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое...

До сих пор я с чувством жгучего стыда вспоминаю, как на третий день, ночью, меня разбудил Мазаев и распорядился принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю, и перевернулся на другой бок, но он с сердитой настойчивостью растолкал меня снова и спросил: «Ты что, сынок, глухой?» И я, воспитанный родителями в духе самоуважения и независимости, крался по ночному городку в накинутах на серое солдатское белье шинели затем, чтобы принести двадцатилетнему «старикуну» компотика, который на кухне для него припасал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в душе: в следующий раз умру, но унижаться не буду!

«Следующий раз» случился наутро. Мазаев сидел на койке и, щелкая языком, рассматривал коричневый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с отвращением оторвав измызганную тряпку, приказал: «Подошьешь». И так же, как Елин сегодня, я ответил: «Не буду». И так же, как Елин сегодня, подчинился, успокаивая свою гордость тем, что так положено, не я первый, не я последний, нужно узнать жизнь, придет и мой час, ну и так далее... А ночью с ужасом проснулся от мысли: если бы Лена увидела, как я унижился, она сразу бы разлюбила меня.

А Мазаев еще не раз и не два учил меня жизни, и особенно ему не нравилось то, что я москвич. По-моему, он вообще представлял себе столицу в виде огромного, рассчитанного на восемь миллионов спецраспределителя!

Все случившееся некогда со мной и все, что переживал сегодня Елин, имеет свое официальное название – неуставные отношения, неуставняк. Несколько раз перед строем нам зачитывали приказы о том, как «кто-то кое-где у нас порой» отправился в дисбат именно за издевательство над молодыми солдатами. А весной нас возили на показательный трибунал. Один из обвиняемых, здоровенный парнюга, покалечивший призывника, после приговора заорал хриплым басом «мама!» и зарыдал.

После отбоя в казарме мы долго обсуждали увиденное.

– Пять лет! – стонал Шарипов. – Очертеть можно!

– Закон суров, но это закон, – спокойно заметил Валера Чернецкий, обрабатывая ногти надфилем.

И тут с неожиданной яростью высказался Зуб:

– Из-за какого-то «салабона» человек пропал!

– Да ведь он чуть не убил молодого-то! Балда... – удивился невозмутимый Титаренко.

– Распускать «сынков» не надо, тогда и бить не придется! – разошелся Зуб. – А если бить – так по-умному...

– Как тебя Мазаев лупил? – простодушно поинтересовался я.

– Хотя бы и так! – огрызнулся Зуб и вдруг заорал: – Цыпленок, свет выключить! Быстро!

И вот почтенный отец семейства, молниеносно соскочив со второго яруса на пол, строевым шагом подошел к выключателю и, согласно сложившемуся ритуалу, трогательно попросил:

– Товарищ выключатель, разрешите вас вырубить?

Немного подождав, словно электроприбор мог ответить, Цыпленок осторожно погасил свет.

Мне всегда хотелось узнать, что думают о «стариковстве» офицеры. И вот как-то я сидел в штабе дивизиона и по распоряжению комбата чертил боевые графики, а рядом что-то строчил в тетрадке прилежный лейтенант Косулич. Честно говоря, сначала мы посмеивались над взводным: командовал он таким тоном, точно извинялся за причиняемые неудобства. Но потом оказалось, наш тихоня знает технику получше комбата – такое впечатление сложилось у меня после тактических занятий и нескольких суббот, проведенных вместе с Косуличем в ангарах, возле самоходок. А громкий командный голос взводный обязательно выработает: на то у него и погоны со звездами, а у нас байковые.

– Товарищ лейтенант, давно хотел у вас спросить, да все как-то неудобно... – профессионально робея, начал я.

– Я вас внимательно слушаю! – отозвался взводный, который даже к Цыпленку обращался на «вы».

– Как вы считаете, откуда пошло «стариковство»?

– Неуставные отношения... – встревоженно повторил Косулич. – Вас это интересует в связи с конкретной ситуацией или теоретически?

– Чисто научный интерес! – успокоил я насторожившегося взводного.

– Вы знаете, – посерьезнел он и поправил очки, – я тоже часто об этом думаю. Говорят, все началось после сокращения сроков службы в шестьдесят седьмом году. Давайте смоделируем: вы служите три года, а новые призывы – только два!

– Жуть! – возмутился я.

– Не надо драматизировать! – возразил лейтенант.

– Конечно, не будем! – согласился я, потому что офицер, изначально заряженный на двадцать пять лет, никогда не поймет, что значит для солдата прослужить лишний год!

– Но обстоятельства сложились так, – продолжал взводный, – что «трехлетки» стали срывать зло на «двухлетках»... А дальше нечто вроде цепной реакции...

– Я свое огреб, а теперь ты получи! – подсказал я.

– Примерно... – согласился лейтенант. – Но я думаю, что тут дело посложней. Начнем с того, что разделение на возрастные касты было во все времена характерно для замкнутых коллективов, каковыми являются не только армейские подразделения. Так, в пажеском корпусе перед революцией бытовала жестокая шутка: старший воспитанник подходил к младшему и спрашивал: «Каково расстояние от меня до тебя?» – «Аршин...» – отвечал молодой. «А каково расстояние от тебя до меня?» – снова спрашивал экзаменатор. «Оно настолько велико, что не поддается измерению!» – должен был ответить тот, в противном случае его ждало жестокое наказание...

– Надо запомнить!

– Я рад, Купряшин, что вас тоже волнует эта проблема! – Лейтенант прямо-таки расцвел. – Знаете что, давайте-ка проведем грамотно подготовленное собрание с повесткой «Армейский комсомол – воспитатель молодого пополнения». Попросим замполита выступить, корреспондента из «дивизионки» позовем... Договорились? И вы выступите как член бюро батареи. Значит, я в план включаю? – И Косулич полез в стол за красиво оформленной папкой...

Собрание мы, разумеется, провели, а в «Отваге» о нем поместили заметочку под названием «Мужской разговор». Дело было так: мы с песней подошли к казарме, по команде старшины Высовеня забежали в ленкомнату и расселись. Избрали в президиум Осокина, Уварова, Косулича и поручили вести собрание недавно пришедшему из учебки младшему сержанту Хитруку, который и на полигоне-то ни разу не был, а постоянно курсировал между штабом

и клубом. Зато ночевать он приходил в батарею, поэтому отлично понимал, что значит его сомнительное сержантское звание в сравнении с высоким титулом «старика». Хитрук что-то замямлил, опасливо поглядывая в сторону ветеранов батареи, устроившихся на «камчатке», но они с нарочитым одобрением захопалали, и младший сержант с облегчением передал слово майору Осокину.

Замполит хорошо говорил об отдельных фактах неуважительного отношения к молодежи, о совсем уж единичных случаях издевательства над призывниками. Он подчеркнул, что эти негативные явления, в принципе не свойственные нашей армии, серьезно сказываются на боевой и политической подготовке личного состава, подрывают атмосферу товарищества в подразделениях, поэтому с ними нужно бороться всем жаром комсомольских сердец, активно прибегая как к критике, так и к самокритике...

Лейтенант Косулич ловил каждое слово замполита и даже что-то записывал в блокнот, а комбат равнодушно пересчитывал награды на мундирах наших отцов-маршалов, чьи портреты теснились на стене. Неожиданно слово попросил Валера Чернецкий, встал, раскланялся, точно конферансье, и начал:

– Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас пишут о наставничестве. Так?

– Так.

– Должен опытный воин наставлять призывников?

– Должен.

– А опыт закрепляется как? На практике. Значит, чем больше «салабон»... простите... чем больше молодой воин сделает, тем быстрее освоится, переймет опыт. Правильно?

– Н-ну, правильно... – насторожился Осокин.

– Ну а раз правильно, то это никакие не издевательства, а обыкновенное наставничество. И лучших «стариков»-наставников нужно даже поощрять! Я вот, например, еще ни разу в отпуску не был. Правильно?

В ленкомнате раздалось одобрительное хихиканье. Косулич сокрушенно покачал головой, младший сержант Хитрук помертвел, а комбат Уваров нехотя улыбнулся.

– Нет, неправильно! – дернув головой, сердито ответил замполит. – Во-первых, ты забыл, как год назад жаловался, что у тебя старослужащие деньги отбирают. Было? Молчишь. Ну-ну... А во-вторых, в Вооруженные силы вас, товарищ рядовой, призвали не педагогические таланты выказывать, а Родину защищать! Без армии нет Родины, а без дисциплины нет армии! И ничто так не разъедает дисциплину, как неуставные отношения!

– Товарищ майор, это же просто красивая традиция! – начал оправдываться Валера. – Так время быстрее идет, веселее...

– Нет, Чернецкий, это не забавная традиция, не веселая игра... Это ржавчина, разъедающая армию изнутри! Ведь, не дай бог, что-то случится – в бой вы пойдете все: и молодые, и «старика» сопливые... На войне, знаете, наставник тот, кто уцелел. Кстати, там «стариками» и называются те, что выжили. Ясно?

– Ясно! – отозвался Чернецкий, всем видом демонстрируя свое уважение к афганскому опыту майора.

– И вот еще: если что-нибудь узнаю про ваши «дембельские» художества, виновный в лучшем случае за ворота части выйдет 31 декабря, ровно в 23.59. Это я вам говорю как наставник.

Кстати, угроза майора была вполне реальна. Общеизвестный рядовой Мазаев долго бродил в своей пушистой шинели по городку и пропал в самом деле лишь под Новый год.

Выступая в заключение, младший сержант Хитрук пел о том, что после такого собрания по-старому жить невозможно, что, обновляясь со всем народом, мы каленым железом выжжем скверну неуставных отношений из наших сплоченных рядов, что в эпоху тотальной борьбы за

мир особо важны бдительность и боевая готовность... При этом он с извинением поглядывал на «камчатку», где сидели «старики».

Сначала я тоже хотел выступить на собрании, даже несколько дней обдумывал и мысленно произносил свою речь, суть которой, как я теперь понял, сводилась в основном к призыву кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» В общем, детский лепет на лужайке. Но когда лейтенант Косулич показал глазами – мол, сейчас твоя очередь, я так замотал головой, что чуть не свернул себе шею.

## 6

*...Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:*

*– Товарищ майор, разрешите...*

*– Не разрешаю! – обрывает Осокин.*

Дрожа от возбуждения, я мчусь в сторону автопарка и вскоре нагоняю Зуба. Он курит на ходу, и ночной ветер выбивает искры из его сигареты. Заметив меня, Зуб хочет заговорить, даже поворачивается в мою сторону, но тут, конечно, вспоминает приговор ночного суда. Не положено: я ведь теперь снова «салага»! Но блюстителю суровых «стариковских» законов страшно наедине с мыслями об исчезнувшем Елине, и он прибавляет шаг ровно настолько, чтоб не отстать от меня и одновременно не идти рядом с презренным парией, между прочим, поощренным недавно благодарственным письмом на родину.

– Эй, подождите! – Из чердачного окна выныривает чья-то голова, раздается грохот на лестнице, и перед нами возникает Цыпленок. Он тут же сообщает, что почти все чердаки и подвалы проверены и что в городке ловить больше нечего, а искать нужно в автопарке, где недавно под самоходкой спрятался и уснул парень из батареи управления, обидевшийся на своего старшину.

Может быть, Елин заплакал и тоже дрыхнет где-нибудь под ракитовым кустом, не зная, какая каша заварилась из-за него. С молодыми такое бывает.

По пути задыхающимся голосом осведомленный папа Цыпа рассказывает нам, что, собственно, произошло. Оказывается, лейтенант Косулич, выполнявший вчера обязанности вождя и учителя кухонного наряда, заметил, что рядовой Елин не работает, но сидит в углу, уткнувшись лицом в колени. На вопрос: «Кто обидел?» – Серафим ответил: «Никто». – «Заболел, что ли?» – встревожился добросердечный взводный. «Да, живот схватывает...» И тогда Косулич отправил Елина в санчасть, гуманно рассудив: если заболел – вылечат, а если притворяется, то начальник медслужбы капитан Тонаев быстро мозги вправит...

Цыпленок раздувает ноздри, изображая свирепого начмеда, и возобновляет рассказ: Елин предупредил ребят, что только примет лекарство и сразу вернется. В ответ ему горячо порекомендовали в качестве надежного лечебного средства двухведерную клизму с патефонными иглками. Елин печально улыбнулся, ушел, и больше его не видели.

\* \* \*

Вернувшись с зарядки, я отправился в бытовку бриться и обнаружил там Елина: с обреченным видом он пришивал выданные пуговицы. Лучшей ситуации для разговора не придумаешь.

– Послушай, Фима, – начал я задушевым голосом и увидел, как вздрогнул Елин, давно не слышавший своего имени. – Ты особенно не расстраивайся. Зуб, конечно, заводной парень, но его в свое время тоже гоняли, особенно Мазаев... – Говорил я совершенную чепуху, но остановиться не мог. – Скоро мы уволимся, полгода «скворцом» побудешь, а там уже и дембельский альбом готовить надо. Главное, не бери в голову! Дома-то все в порядке?

По тому, как Елин глубоко вздохнул и промолчал, я понял, что дома-то как раз не все в порядке. Вычислить ситуацию было несложно: мама с папой не разлюбят и письмо написать не забудут. Если б кто-то серьезно заболел или, не дай бог, помер – Елина по телеграмме отправили бы в краткосрочный отпуск. А он – здесь, сидит и орудует иголкой. Остается заурядная, но чреватая тяжелыми осложнениями «салажья» болезнь – разочарование в женской преданности. Ну что же, я прошел через такое и поэтому хирургически точным вопросом коснулся раны:

- Последнее письмо от нее давно получил?
- Месяц назад.
- Подожди, тебе же вчера письмо было!
- Это не от нее.
- Значит, теперь от нее жди!
- От нее больше не будет.

Елин наклонился к гимнастерке перекусить нитку, и на кителе расплылось мокрое пятнышко.

- Почему не будет? – спросил я, словно не понимая.

И тогда он достал залохматившийся по краям конверт с портретом великого русского физиолога и естествоиспытателя И.П. Павлова (1849–1936). Я прочитал письмо. Это была обыкновеннейшая армейская история. Елинская подружка сама написать не решилась, а попросила их общего друга, на которого этот балбес, уходя, оставил свою зазнобу. После сбивчивых предисловий – сердцу, мол, не прикажешь, правда, мол, между товарищами прежде всего – тот хмырь сообщал, что «давно любит Люсю» и что неделю назад они подали заявку. Вот ведь какой гад! Нравится – женись, но зачем плевать в душу парня, который, между прочим, охраняет твой блудливый покой. Мне рассказывали один случай: девчонка писала до последнего дня: люблю, жду, приезжай! Он приехал – здрасьте! У нее давно муж, и ребенок ползает. Парень, конечно, мужу в торец, ей, я думаю, тоже. И успокоился. А она ему логично объяснила: «Тебе и так было тяжело, не хотела расстраивать...» Может, случай этот – вранье, но уж коли обманывать – как та девчонка.

Но Елину я сказал другое:

– Во-первых, Серафим, рубить лучше сразу – значит, не любила. А то, бывает, гуляет со всем микрорайоном и ждет. Знаешь, у девчонок такая теория появилась: главное – верность духовная. Во-вторых, зема, давай философски. Девчонок тоже в чем-то понять можно. Вот мне одноклассница написала (написала она не мне, а Чернецкому, но в данном случае это значения не имело). Ждала парня два года, а он вернулся и смотреть не хочет: у него, видите ли, за время службы вкус изменился. А ей куда два года домашнего ареста девать? Можно ее понять?

– Можно... Правильно ребята еще в карантине говорили: хочешь спокойной службы – сразу забудь. Я же чувствовал, что-то у них не так! И на проводах тоже. Обидно только!

- А мне, думаешь, не обидно было? – сказал я и осекся.

Елин смотрел на меня, ожидая продолжения. Ну уж нет!

– В общем, так, – подытожил я. – Выбрось все из головы – этого добра у тебя еще навалом будет! А теперь давай договоримся насчет Зуба. Я, конечно, с ним потолкую, но и ты старайся не связываться. Сам понимаешь, «этот мир придуман не нами...»

– А по-моему, мы сами это свинство придумали и сами мучаемся, – вдруг выдал бывший пионерский вожак. – Но я не буду терпеть!

- Ну и что ты сделаешь?
- Я? Знаю! Вот увидишь! Я... Я...

– Ладно тебе! Я! Я! Головка от броневой снаряды... Лучше скажи, тебя не в честь шестикрылого серафима называли?

– Н-нет! – удивился Елин и улыбнулся, обнажив два заячьих зуба. – Просто у моего дедушки...

Но сколько крыльев было у елинского деда, я так и не узнал: дверь распахнулась и в бытовку вошли замполит Осокин и комбат Уваров. Мы вскочили.

– Вольно. Занимайтесь своим делом, – разрешил майор и, оглядев бытовку, сказал: – М-да...

Хотя было воскресенье, меня нисколько не удивило появление комбата и замполита: в дни солдатских праздников, таких как «сто дней», офицеры не знают покоя.

Осокин колупнул пальцем штукатурку, попробовал ногой расхोдившуюся половицу, еще раз оглядел комнату и остановил глаза на Елине.

– Майский? – спросил он комбата.

– Так точно, – подтвердил Уваров.

– Ну, как служба? Привыкаешь? – тепло осведомился майор у Серафима.

– Привыкаю, – промямлил Елин и, почувствовав, что ответ прозвучал не по-военному, добавил: – Так точно!

Вообще, «так точно» и «отставить» удивительно въедливы. Я, например, замечал, как старшина Высовень, начав что-то делать неверно и заметив это, сам себе командует вполголоса: «Отставить!»

– Дай-ка сюда! – неожиданно потребовал замполит, протянув руку к «хэбэ». – Кто же это тебе все пуговицы с мясом выдрал?

Наступила тишина, нарушаемая только глухим топотом, доносившимся со второго этажа.

– Я вас спрашиваю, товарищ рядовой!

Елин стоял, опустив голову, и крутил в пальцах непришитые пуговицы.

– Купряшин, – дошла очередь до меня, – что здесь произошло?

Я понимал, что нужно оперативно соврать: ну зацепился и так далее. Но выгораживать Зуба мне не хотелось; ей-богу, стоило бы поглядеть, как он будет извиваться перед замполитом, потому что ефрейтор такой храбрый только с молодыми, и то не со всеми: здорового Аболтыньша он, например, старается не «напрягать». Подумав так, я открыл рот и ответил:

– Не знаю, товарищ майор.

– Кто командир расчета? – Осокин дернул головой и повернулся к комбату.

– Сержант Титаренко.

– Это там, где Зубов? – что-то припоминая, спросил замполит.

– Так точно, товарищ майор. Я разберусь и вам доложу! – торопливо заверил комбат и, выходя из бытовки вслед за побагровевшим Осокиным, резанул нас бешеным взглядом.

– Все – хоккей! Да садись ты! – успокоил я разволновавшегося Елина, и тот вернулся к своим реставрационным работам.

Но мне-то было ясно, что дело приняло скверный оборот! Комбат не первый год на этой работе и, зная Зуба как облупленного, конечно, догадался, кто потрянул Елина. Но сама по себе случившаяся история не стоила бы выеденного яйца, если бы, как говорится, информация не ушла наверх. Поэтому можно представить, из каких слов сейчас состоит внутренний монолог Уварова. И я тоже чукча: «Не знаю, товарищ майор». А что сделаешь? Есть такая заповедь: не заклади! То есть: не заложил! Вот, черт, такой день, и так паршиво начался!

– Батарея, выходи строиться! – натужно проорал Цыпленок.

Началось утреннее построение. Обычно первыми выскакивали из дверей и строились «салаги», потом с солидной неспешностью выходили «лимоны», наконец появлялись уставшие от жизни «старрики». Они неторопливо занимали промежутки в строю, заботливо припасенные молодыми. В этот момент обычно появлялся жизнерадостный старшина Высовень, и начиналось:

– Малик!

Молчание.

– Малик!

– Я!

– Головка от крупнокалиберного снаряда. Не спи – замерзнешь!

Но построения по всем правилам не получалось, потому что вместо прапорщика, влюбленного в меткое народное слово, перед шеренгой стоял разозленный комбат Уваров, и встречал он явление личного состава народу таким взглядом, что даже самые лихие «старики», вроде Шарипова, менялись в лице, торопливо застегивая воротники, и перемещали ременную пряжку с того места, где обычно расположены фиговые листочки, на плотную дембельскую талию.

– Вот черт, сам поведет, – тоскливо сказал мне Чернецкий. – И чего ему дома не сидится, с женой, что ли, поругался?

Заслышав про комбатову жену, Шарипов лукаво толкнул меня локтем.

– Нет, боится, – ответил вместо меня Зуб. – Помнишь, в день приказа он вообще в казарме ночевал?

– Мать честная! И так двадцать пять лет жить! – покачал головой Камал.

– Отставить разговоры! Батарея, равняйся! Смирно! – Титаренко строевым шагом подошел к комбату, лихо повернулся и отчеканил: – Товарищ старший лейтенант! Шестая батарея построена. Заместитель командира взвода сержант Титаренко.

– Здравствуйте, товарищи артиллеристы! – недружелюбно поприветствовал нас комбат.

– Ва-ва-ва-ва-ват! – проревела батарея, что в переводе означает: здоровья желаем, товарищ старший лейтенант.

Затем Уваров принял из рук Титаренко красную папку со списком личного состава и провел переключку, в ответ на каждое «Я» вперяя в подчиненного испытующий взгляд и чувствуя себя в эту минуту, наверное, обалденным психологом. Потом, перестроившись в колонну по четыре, мы отправились в столовую, но путь, обычно занимавший пять минут, на этот раз длился полчаса.

– Батарея! – скомандовал комбат. И тотчас на брусчатку обрушились слабенькие ножки молодых – словно горох по полу запрыгал. – Отставить! Кругом!

И мы вернулись к родной казарме, остановились и застыли, как декабристы, ожидавшие помощи со стороны несознательных народных масс, участвовавших в строительстве Исаакиевского собора.

Я переминался с ноги на ногу и думал о том, что комбат хотя и неплохой мужик, но с самодуринкой: то ему на все наплевать, то хочет враз все переделать. Лично мне симпатичнее лейтенант Косулич или даже прапорщик Высовень, они тоже иной раз любят дисциплиной подзаяться, погонять туда-сюда, но делают это без упоения, а, так сказать, подчиняясь суровым обстоятельствам. И хотя взводный при этом утомительно вежлив, а старшина обзывает нас «плевками природы» и «окурками жизни», зла на них никто не держит.

– Батарея! – скомандовал старлей, решив, что мы все осознали, – и строй снова двинулся к столовой.

На подмогу немощным «салагам» и «скворцам» пришли «лимоны», сообразившие, что положение нужно спасать, хотя, в принципе, свое они уже оттопали. Но горох остался горохом, правда, несколько увеличился в размерах.

– Отставить! Кругом!

И опять мы неподвижно стояли возле казармы.

– Хреновые дела, – шепнул Зуб, до сего момента не замечавший меня. – Комбата кто-то разозлил.

Хотел я было объяснить однопризывнику, что этот «кто-то» – он сам, но решил не опережать события.

Наконец с третьей попытки, когда, забыв свою гордость и вспомнив далекую молодость, приударили ножкой и «старики», дело пошло на лад. В казармах задребезжали стекла; казалось, еще один удар – и вся батарея провалится к черту сквозь вибрирующую брусчатку.

– Запевай!

С песней повторилось то же самое, что и со строевым шагом. Но в более сжатые сроки. И когда уже каждый топал и пел из последних сил, а батарея стала похожа на гроыхающий колесами и подающий непрерывный гудок поезд Владивосток – Москва, – комбат решил, что пайку мы заработали, и повел нас на завтрак.

По команде мы забежали в столовую и, как обычно, расселись за пятью длинными столами – у окошка «старики», а дальше, к проходу, в соответствии со сроками службы, – остальные. В огромном зале висел милый сердцу каждого солдата густой звон мисок и ложек, а на стене красовался знаменитый лозунг, выполненный полковым талантом, клубным деятелем младшим сержантом Хитруком под руководством зампотылу майора Мамаю:

ХЛЕБА К ОБЕДУ В МЕРУ ЛОЖИ,  
ХЛЕБ – ЭТО ЦЕННОСТЬ, ИМ ДОРОЖИ!

Питание личного состава батарее строилось обычно следующим образом: первыми хлеб, кашу, мясо и прочее «ложили» «старики». Но поскольку у них почему-то аппетит ослаблен, то молодым, которым всегда хочется рубать с жуткой силой, еды в общем-то хватает, разве что чай бывает не приторным или белого хлеба и мясца не достается. Но никто и не говорит, что они в армию жрать пришли!

Главный ритуал «стадией» в том-то и заключается, что сегодня все происходит наоборот: первыми еду берут «салаги», а мы – под конец. Естественно, они смущаются и стремятся, косясь на ветеранов батареи, взять кусочки поплоче, но картина все равно впечатляет! Затем начинается кульминация: «старики» отдают молодым свое масло. Все это, по замыслу, должно символизировать преемственность армейских поколений. Но когда свою желтую шайбочку я положил на хлеб Елину, тот посмотрел на меня такими глазами, что весь ритуал, казавшийся мне безумно остроумным, представился полным идиотизмом. Как любит говорить старшина Высовень: «Армия – это «цирк зажигает огни». А вы все – клоуны!»

Я рубал солдатскую кашу «шрапнель» и думал о том странном влиянии, какое оказывает на меня нескладеха Елин. Или он какой-то особенный, или просто-напросто с ним я снова переживаю свои первые армейские месяцы, когда кажется, будто шинель, гимнастерка, сапоги и т. д. – это уже навсегда, будто домой не вернешься ни за что; когда все вокруг пугающе незнакомо, когда находишься в страшном напряжении, словно зверь, попавший в чужой лес; когда можно закричать из-за того, что из дому снова нет писем, когда от жестокой шутки немногословного «старика» душа уходит в пятки, когда понимаешь, что жить в солдатском обществе можно только по его законам и нельзя купить билет да уехать отсюда, как сделал бы на гражданке, не сойдясь характером с тем же самым Зубом. Армия – это не военно-спортивный лагерь старшеклассников с итоговой раздачей грамот за меткую стрельбу из рогаток. Армия – это долг. У них – повинность, у нас – обязанность, но везде – долг! Значит, нужно смирить душу и вжиться. Сила характера не в том, чтобы ломать других, как считает Уваров, а в том, чтобы сломать себя!.. Стоп. А нужно ли ломать, нужно ли привыкать к тому, к чему приучил себя я? Может быть, прав смешно уплетающий «шрапнель» Елин: сначала мы сами придумываем свинство, а потом от него же мучаемся...

– Встать! Выходи строиться! – скомандовал комбат.

Я выплеснул в рот остатки чая и, разжевывая на ходу комки нерастворившегося сахара, направился к выходу. К сожалению, дисциплина порой несовместима с логическим мышлением.

– Направо! Шагом арш! – продолжил свою воспитательную работу старший лейтенант.

Я шагал и пел о том, что «всегда стою на страже», а сам думал, как после обеда, воспользовавшись законным личным временем, пойду в библиотеку и буду говорить с Таней. Удивительно, но с самого утра, вообразив себя ГлавПУРом и решая актуальные проблемы политико-воспитательной работы в Вооруженных силах, я почти не вспоминал о Тане. Да, все-таки солдат не должен много думать, иначе, как я сейчас, он теряет ногу и семенит, подпрыгивая, чтобы снова совпасть с родным коллективом.

– Батар-рея! – рявкнул наш трехзвездный Макаренко, и сытый личный состав с такой силой шарахнул о брусчатку, что выдавшие виды гарнизонные вороны взвились в воздух и обложили нас пронзительным птичьим матом.

7

– Значит, письмо нашли?! – вскидывается Зуб. – А дальше?

Скотина! Он и сейчас думает только о том, как бы отвертеться, свалить случившееся на кого-нибудь другого, на ту же шалопутную елинскую подружку. Ему хорошо известны случаи, когда молодые делают над собой глупости из-за таких вот писем. В прошлом году один «старик» получил от своей телки письмо, прочитал, разорвал и выбросил в «очко». А ночью повесился в каптерке на своих дембельских подтяжках, за четыре дня до приказа...

Мы бежим по аллее Полководцев – заасфальтированной дорожке, по сторонам которой установлены щиты с портретами славных ратоборцев, начиная с Александра Невского. Аллея ночью освещается фонарями. Мимо нас мелькают рисованные лица – и мне мерещится, что вся героическая история русского оружия с осуждением смотрит нам вслед. А маршал Жуков даже хмурит брови, точно хочет сказать: «Что же это у вас солдаты пропадают?! Распустились?!»

Аллея Полководцев кончается возле полкового клуба – многобашенного здания, похожего на средневековый замок. В этом замке работает библиотекаршей прекрасная принцесса по имени Таня. Таня – жена нашего комбата. И мне чудится, что налетевший ветер доносит запах ее необыкновенных духов, чье название я никак не запомню вследствие полного парфюмерного невежества.

– Клевая у комбата жена! – по-птичьи, одним глазом, глянув на меня, сообщает озабоченный Цыпленок. – Я давеча...

– Я тебя, сыняра, спросил, что было после письма? – задыхаясь от злобы и бега, перебивает Цыпленка Зуб. – Ты оглох, что ли?

\* \* \*

Солдатское воскресенье – это изобилие личного времени. Но расположение нашей части таково, что увольнений не бывает: идти некуда, ближайший населенный пункт – в тридцати километрах. Раз в полгода нас возят туда для торжественных смычек с местной молодежью, в основном девочками-старшеклассницами.

Накануне мы обычно долго не спим и страстно обсуждаем тактику и стратегию совращения местных девиц, Цыпленок важно делится брачным опытом, а Зуб, лилодея от нерастратченного солдатского любострастия, рассказывает о своих, по-моему, придуманных, половых подвигах. Обычно дело кончается тем, что ошалевший Шарипов с криком: «Ишаки проклятые!» – выбегает из казармы в ночь. Надо ли говорить, что на следующий день, во время смычки, мы стоим у стенок клуба, как замороженные, и только никогда не принимающий участия в наших «военных советах» Валера Чернецкий всегда отхватывает себе школьницу с непременно восьмым номером и исчезает с ней после двух-трех танцев. Возвращаются они через полчаса, и девица смотрит на нашего усталого, но довольного боевого друга с собачьей преданностью.

Вот и все развлечения... Правда, за полигоном у нас расположена железнодорожная ветка, но поезда проскакивают наши Палестины, не останавливаясь. Как говорит старшина Высовень, жизнь пронеслась мимо, обдав грязью...

Воскресные дни у нас проходят однообразно: «салаги» пишут письма, «старики» сидят в солдатской чайной или готовятся к торжественному возвращению домой. Днем смотрим по телевизору «Служу Советскому Союзу!», которую у нас называют «В гостях у сказки», вечером в клубе – законный воскресный фильм. Бывают и спортивные мероприятия. Сегодня, например, встреча по волейболу между первым и третьим дивизионами. Но я решил после завтрака заняться своим дембельским хозяйством и отправился в каптерку.

Там уже изнемогал над своей «парадкой» завистливый Шарипов, а у него за спиной приломился услужливый Малик и с упоением наблюдал за превращением обыкновенной уставной парадной формы в произведение самодеятельного искусства.

Камал, поставивший перед собой сложную задачу – модно ушить форменные брюки, походил на сосредоточенного хирурга и, орудия попеременно то бритвой, то ножницами, властно требовал у ассистировавшего Малика: «Булавку! Бритву!»

Вдоль стены в два яруса, как в магазине «Одежда», висели «парадки» и шинели. Я снял с вешалок и разложил на длинном столе всю свою экипировку. Шарипов оторвался от работы и сокрушенно зацкал зубом: моя – пушистая, словно мохеровая, шинель была предметом его постоянной зависти. В свое время ему досталась коротенькая шинелька б/у, вытертая, кое-где прожженная – и все старания привести ее в нормальный вид ничего не дали. Тщетными оказались и попытки «махнуться» с кем-то из молодых: мол, тебе все равно, в какой служить, а мне скоро домой, – старшина Высовень строго следил за тем, чтобы новенькое обмундирование не уплывало на гражданку вместе с предприимчивыми дембелями.

Говоря честно, экипировка – главный предмет забот в последние полгода службы. Спроси любого задумавшегося «старика» – он размышляет о том, как будет одет в день увольнения. Вот почему я смотрел на разложенный почти полный дембельский комплект, как пишут в газетах, с чувством глубокого удовлетворения. Прежде всего шинель, которую, расчесывая специальной металлической щеткой, я сделал по длине и густоте ворса похожей на лохматую шкуру странного серо-защитного зверя. Далее – «парадка». Операцию, над которой мучился Шарипов, я уже провел и обладал роскошными брюками. На китель были нашиты совершенно новые шевроны, петлицы, а также офицерские пуговицы – они, в отличие от солдатских, густо-золотого цвета. Погоны пропитаны специальным клеем, что делает их твердыми и придает элегантную четкость всему силуэту. Камал, я знаю, подложил под погоны обычные пластмассовые пластины и сваял дурака: их заставят вынуть при первом же построении. Не положено!

Рядом с «парадкой» во фланелевой тряпочке – сияющие значки отличника боевой и политической подготовки, специалиста 2-го класса. Кроме того, совсем недавно мне удалось выменять на офицерские пуговицы комсомольский значок, не прикалывающийся, как обычно, а привинчивающийся, – жуткий дефицит. В слесарке мне уже вытачивают для него латунное оформление в виде взлетающей ракеты. В другой фланельке – пряжка, которую при помощи наждачной бумаги, специальной пасты и швейной иголки я довел до такого совершенства, что, глядя в отполированную поверхность, можно бриться. Нерешенная проблема – ботинки: надо бы нарастить каблуки. Все это отлично делает полковой сапожник, мой земляк, но даже из земляков к нему выстроилась такая очередь, что до меня дело дойдет лишь через месяц.

Чемодан. Он небольшой, потому что везти особенно нечего, но зато на крышке я изобразил взлетающий самолет и надпись «ДМБ-1985». Наивно думать, будто с таким чемоданом меня выпустят за ворота части, но и мы тоже два года не зря служили! Делается это так: рисунок клеивается полиэтиленовой пленкой, хуже – бумагой (может промокнуть) и закрашивается под цвет чемодана, когда же опасность минует, маскировка срывается. Военная хитрость!

И наконец, дембельский альбом. Мой – высшего качества, в плюшевой обложке. Он пока девственно чист, хотя я приготовил для него несколько отличных фотографий, запечатлевших мою солдатскую жизнь и ребят из батареи. Я мыслю альбом так: фотографии с пояснительными подписями и несколько страниц для пожеланий и напутствий однополчан. На память. Но чаще всего дембельские альбомы напоминают альбомы уездных барышень, о которых писал А.С. Пушкин. Это соображение я высказал еще в начале службы рядовому Мазаеву. Я клеивал в его альбом фотографии и умирал со смеху. Нужно знать Мазаева: восемь на семь, глаза в разные стороны, двух слов не свяжет, если только при помощи фигуральных выражений, глубоко чуждых армии и печати.

Альбом у него был такой: на первой странице – сплошные виньетки и надпись: «Слава Советским Вооруженным Силам!» На следующей – вырезанный из «Советского воина» плакат времен Гражданской войны «Ты записался добровольцем?». Под плакатом приклеена подлинная повестка. На следующих страницах – фотографии: Мазаев с автоматом, Мазаев со снарядом, Мазаев в окружении земляков, Мазаев на плацу... Были еще какие-то фотки, но самая умора дальше: фотография очень хорошенькой девушки и письмо, начинавшееся словами: «Дорогой, любимый Антон!» Весь юмор в том, что за два года – это знала вся батарея – Мазаев не получил от девчонок ни одного письма, но главное – имя «Антон» было явно и неумело переправлено из имени «Андрей». Любовную страницу украшали виньетки с целующимися голубками.

В довершение ко всему он оказался любителем поэзии. Из каких журналов и книг взяли эти стихи, не знаю. Одно, помню, заканчивалось:

*Мир на белом свете будет —  
Я страну свою люблю. Спи,  
Отчизна, спите, люди,  
Потому что я не сплю!*

Я представил себе никогда не спящего Мазаева и захохотал: с койки его обычно поднимала только крупнокалиберная ругань прапорщика Высовеня. Мой работодатель, который к смеху-то вообще относился подозрительно, услышав, как я потешаюсь над его альбомом, дал мне такую затрещину, что теперь на вопросы врачей, имел ли травмы черепа, отвечаю уклончиво.

Первое время все эти мелочные приготовления, споры до хрипоты, в чем лучше прийти: в «парадке» и ботинках или в «пэша» с белоснежным подворотничком и сапогах, – казались мне смешными. Главное – дожидаться, а там какая разница, в чем ехать домой, лишь бы домой! И только теперь мне стало понятно, что преддембельская суета идет не от дурацкого щегольства, вернее, не только от него, а от стремления заполнить, заглушить томление последних месяцев, которые тянутся, тянутся и не кончатся, кажется, никогда. Ведь первое время, конечно, тоскуешь по дому, мечтаешь о возвращении, но так же нереально, как мечтаешь о бессмертии, потому что с самого начала душа как бы запрограммирована на два года службы, но где-то за полгода до дома этот механизм солдатского терпения вдруг расстраивается: не хочется спать, есть, писать домой... А тут подворачивается возня с экипировкой, и постепенно ты сам себя убеждаешь в том, что без этого не будет настоящего возвращения домой.

Но есть у меня и другая версия. День за днем, месяц за месяцем солдатская жизнь все глубже проникает в душу и постепенно становится естественной, даже единственной формой существования. Прежняя, гражданская пора отодвигается в глубь памяти, покрывается розовой дымкой воспоминаний: минувшее дорого, потому что невозвратно. И вот однажды ты начинаешь понимать, что служба кончается и скоро нужно будет уходить из этого городка, знакомого до выбоин на асфальте, уходить от друзей-однополчан, от командиров, уходить в

ту былую жизнь, где у тебя пока нет места. И мне кажется, что вся наша альбомно-чемоданная суета – только способ заглушить чувство неуверенности, облегчить расставание с армией, ставшей если не родным, то очень привычным домом... Вы скажете, что две эти версии противоречат друг другу. Возможно, но душа солдатская все-таки посложней, чем передовые статьи в нашей дивизионной газете «Отвага».

В минуту глупой откровенности я пытался растолковать свои теории Зубу, но он угрюмо выслушал меня и обозвал идиотом, потому что, имея земляка в типографии, я собираюсь оформлять дембельский альбом общедоступными плакатными перьями. Другое дело – настоящий наборный шрифт! Разумеется, в тот раз я, не задумываясь, послал ефрейтора к чертям собачьим, но теперь... Теперь придется соглашаться и шлепать на поклон к Жорику Плешанову, чтобы выручить этого бунтаря-доходягу Серафима Елина.

Отправившись искать Зуба, я сначала заглянул в штаб дивизиона, чтобы прихватить и свой альбом, хранящийся в шкафу вместе с карандашами, кистями, красками, тушью, рулонами бумаги. До армии, между прочим, я вообще не умел рисовать, а плакатные перья напоминали мне маленький макет лопаты с комплектом сменных штыков. Но служба всему научит. И вот, еще во время школы молодого бойца, когда мы, путаясь в собственных ногах, осваивали поворот на 180 градусов, к нам подошел замполит Осокин, внимательно оглядел щербатый строй и поинтересовался:

– Кто умеет писать плакатным пером?

– Я! – раздался самоуверенный голос, который, как выяснилось потом, принадлежал мне.

И вот с холодного и очень твердого плаца под завистливые взгляды товарищей меня повели в хорошо натопленный штаб дивизиона, где я получил в свое распоряжение тушь, набор перьев и задание переписать на больших листах бумаги несколько мобилизующих и вдохновляющих лозунгов. Майор ушел, и мне оставалось приступить к работе. Тот день я не могу вспоминать без содрогания. Алые полосы выползали из-под пера, извиваясь, точно червяки, тушь брызгала в разные стороны, внезапно бесследно исчезала какая-нибудь буква, и вместо «марша» появлялась некая фрейдистская «маша». Часа через два вернулся замполит, посмотрел на результаты моего вранья, дернул головой и сказал:

– Инициатива наказуема. Трудись, Купряшин!

Говорят, детей учат плавать, швырнув их в воду. Я выплыл: через две недели мне казалось, что я родился с плакатным пером в руке, и запах туши напоминал, извините, молоко матери.

...Наш дивизионный штаб состоит из большого, заставленного казенной мебелью холла и трех кабинетов, принадлежащих соответственно комдиву, отбывшему в отпуск, начальнику штаба и замполиту. Две первые комнаты были заперты и даже по случаю воскресенья опломбированы, а вот из кабинета замполита сквозь неплотно прикрытую дверь доносился разговор, и прелюбопытнейший. Разумеется, я не стал вставлять ухо в щель, мне и так все было слышно. А почему бы и нет? В конце концов, я принимал присягу и умею хранить военную и государственную тайну.

– Послушай, Уваров, ты сам в батарею порядок наведешь или тебе помочь? – сурово спрашивал замполит.

– Товарищ майор, я же вам доложил, – раздраженно объяснялся наш комбат, – ничего не случилось, просто молодые устроили возню... Защитнички!

– А «старички» полезли разнимать? – иронически осведомился майор.

– Да, мне так доложили.

– Удивительное дело: у всех молодые как молодые, а у тебя какие-то игрунчики! То синяк под глазом, то пуговицы с мясом выдраны, то чья-нибудь мамаша пишет мне душераздираю-

щие письма и грозитя министру обороны пожаловаться... Неужели ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее можно при помощи «стариков» держать?

– Виктор Иванович, а неужели вы полагаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови?.. Неужели вы полагаете, если мы назовем прапорщиков нашим «золотым фондом», они будут служить лучше?! Я считаю так: если «неуставняк» существует, значит, это нужно армии как живому организму. Так везде...

– Значит, стихийное творчество масс? – усмехнулся Осокин.

– Да, если хотите... Умный командир не борется со «стариками», а ставит неуставные законы казармы себе на службу...

– Умный командир – это ты? – полюбопытствовал замполит.

– Во всяком случае, за порядок у себя в батарее я спокоен. Это главное. А пуговицы можно пришить.

– Можно. Но эти заигрывания с казарменной «малиной» плохо заканчиваются... И для солдат, и для офицеров...

– А я думал, у нас просто откровенный разговор! – усмехнулся Уваров.

– Он и был откровенным. А теперь – официальная часть. Я, товарищ старший лейтенант, очень уважаю генерала Уварова, но в академию, считаю, тебе еще рановато! Это во-первых. Во-вторых, пришли ко мне Елина! Прямо сейчас...

– Есть.

– И еще один вопрос... Может быть, некстати... – Майор замялся. – Вы помирились с Таней?

– Так точно! – отчеканил комбат. – Разрешите идти?

– Идите...

Кипя так, что из-под фуражки вырывались струйки пара, старший лейтенант выскочил из кабинета и остолбенел, уставившись на меня. Но я смотрел на него совершенно пустыми глазами, как разведчик, работающий по легенде «немого». Решив, видимо, что мне ничего не было слышно, Уваров хлопнул дверью и вылетел на улицу, следом за ним, сжимая под мышкой альбом, слинял и я.

О если бы такой разговор услышал, например, младший сержант Хитрук, через полчаса о нем знали бы даже неходячие больные из санчасти капитана Тонаева. Но об этом ни слова! А все-таки интересно! Папанька-то нашего Серёни, как известно, генерал-лейтенант, и, значит, наш комбат как бы «лейтенант-генерал». Но замполит – победитовый мужик, никому спуска не дает, будь у тебя родитель хоть генерал, хоть адмирал, хоть начальник «Военторга». Впрочем, все равно Уварова пошлют в академию, поэтому меня больше волнует, чтобы Елин Осокину лишнего не наговорил, а то оборвут «старика» моему Серафиму крылышки...

## 8

– Я тебя, сыняра, спросил, что было после письма? – задыхаясь от злости и бега, перебивает Цыпленка Зуб. – Ты оглох, что ли?

Но я и сам могу рассказать Зубу, что случилось потом, после письма...

Лейтенант Косулич выяснил, что в казарму Елин не возвращался, и тут же позвонил домой комбату. Узнав о случившемся, Уваров оцепенел: ведь он-то знал всю предысторию в деталях, у него еще стоял в ушах чреватый последствиями разговор с замполитом. И вот – пожалуйста, как говорится, той же ночью... Комбат, поколебавшись, разбудил Осокина и доложил все как есть. Майор приказал поднять батарею по тревоге – и цепь замкнулась: в казарму вбежал дневальный и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, крикнул:

– Батарея, подъем! – А потом, после секундной паузы, добавил: – Тревога!

Тревога... Нет, не тревога на душе, а страх перед тем, что могло уже случиться...

Вполоборота к нам, таратора о глупом Елине, ста днях, беременной жене, вприпрыжку несетя Цыпленок. Рядом, тяжело сопя, воткнувшись взглядом в землю, гроыхает Зуб. И мне совершенно ясно: если с Елиным что-нибудь случится, я схвачу Зуба за глотку и буду душить до тех пор, пока не заткну это проклятое сопение!

На полном ходу мы влетаем в автопарк. Часовой вместо уставного «стой-кто-идет» приветливо кивает: мол, поищите и здесь, коли вам делать нечего.

В темноте автопарк похож на фантастический зоосад, где в огромных вольерах дремлют гигантские стальные единороги. Когда много времени проводишь возле самоходки, совершенно забываешь о ее назначении – машина и машина. Только иногда, зацепившись взглядом за отполированный пятидесятикилограммовый снаряд, вдруг понимаешь: да ведь это же – смерть, которую ты будешь отмерять, в случае чего, собственными руками, составляя заряд. И ведь тоже на первый взгляд все безобидно: набитый порохом стержень, а на него нужно надеть, в зависимости от дальности цели, несколько начиненных взрывчатой смесью «бубликов». Вот и все. Потом прозвучит команда, и одна за другой, словно рассчитываясь по порядку, самоходки с грохотом тяжело припадут к земле и окутаются клубами дыма. В небе раздастся шелест, именно шелест снарядов, и где-то, километрах в пяти отсюда, взлетят на воздух позиции «воображаемого противника».

На крыле нашей самоходки, скрестив по-турецки ноги, сидит Шарипов и привычно, словно перебирая четки, полирует суконочкой дембельскую пряжку. Перед Камалом, вытянувшись, стоит преданный Малик.

– Все ангары проверил? – спрашивает Шарипов.

– Все! – со вздохом отвечает Малик.

– Под брезент заглядывал?

– Конечно!

Шарипов сокрушенно цокает языком, задумчиво оглядывается и тут замечает нас.

– Елина здесь нет! – сообщает он. – Совсем пропал!

– Я же говорил, нужно искать на полигоне! – радостно подхватывает Цыпленок.

– Не знаю, не знаю... – качает головой Шарипов. – Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бегал! Чтоб мне провалиться...

\* \* \*

Зуба я нашел на волейбольной площадке, он был в своем репертуаре: орал на молодого за то, что тот неправильно закручивает при подаче мяч, и обещал открутить ему голову. На меня ефрейтор сначала вообще не обратил внимания – обиделся, видите ли! Я показал ему издали свой альбом и спокойно наблюдал, как на сердитом зубовском лице борются два чувства: презрение к нарушителю традиций и желание оформить дембельский альбом по высшему классу.

Спустя несколько минут мы уже сидели в солдатской чайной и в знак нашего примирения распивали бутылочку молока, закусывая песочными пирожными. В армии кормят однообразно. Это естественно: попробуй угодить на все вкусы тысячной ораве, поэтому солдат постоянно испытывает желание съесть «что-нибудь вкусенькое». Я, например, выяснил, что жить не могу без творога, который особенно и не любил на гражданке. А теперь мне даже по ночам снится вкус творога.

Я терпеливо слушал занудливые разглагольствования Зуба. Сначала он жаловался, что во времена его далекой армейской молодости «сынкам» вообще запрещалось ходить в чайную, а теперь – о времена, о нравы! – любой «салабон» может спокойно вломиться сюда и кайфовать сколько влезет. Поэтому и очередь к прилавку появилась, а ведь раньше не было! Потом ефрейтор с туманной угрюмостью стал распространяться об одном нарывающемся на непри-

ятности «старике», которому сопливые «салаги» дороже, чем однопризывники. Наконец он дошел до Елина...

– Слушай, Санек, – дипломатично приступил я к делу. – Не трогал бы ты парня. Ему и так тошно.

– Ничего с ним не сделается, пусть жизнь узнает!.. Еще огрызается! Да я «старика» в глаза боялся смотреть. Он меня еще узнает. Пионер-герой!

– Санек, – зашел я с другого бока, – ну помордовали тебя на первом году, лучше ты, что ли, от этого стал?

– Жизнь узнал! – стукнул он себя в грудь.

Я задумался: с Зубом нужно быть терпеливым. Вот вообразил он себя выдающимся учителем жизни, и хоть ты застрелись. Оставалось последнее – бить на жалость, и я мысленно попросил у Елина прощение за разглашение секрета его личной жизни.

– Санек, ты же видишь, с ним что-то происходит, а после вчерашнего письма он вообще ничего не сообщает.

– Из-за крысы, что ли?

– Точно. А ты психолог! Понимаешь, старый, девчонка его бросила – замуж выходит... Елин-то, балбес, доверил другу приглядывать. Ну и сам знаешь, как бывает.

– Знаю! – презрительно бросил Зуб и с сочувствием добавил: – На первом году из-за такого и глупостей наделать можно. Да-а...

Итак, мой расчет оказался правильным, я ведь знал, что где-то в Пензе почти два года Зуба ждала девушка, его однокурсница, писала письма, наверное, любила по-настоящему. И теперь, проведав о горе Елина, ефрейтор почувствовал к нему сострадание, конечно, не без тени самодовольства.

– Ладно, – подытожил Зуб, допивая молоко, – я об этом не знал. В принципе, он парень неплохой, по специальности опять-таки старается. Я вообще-то доволен, что он у нас теперь заряжающий. Нет, какие все-таки крысы бывают, а? Ладно, больше трогать не стану. Но и его предупреди. А то: «Не буду!» Я ему не буду! И ты тоже, заступник нашелся. Я тебе, Лешка, прямо хочу сказать: кончай с этим. А то знаешь...

Зуб из того типа людей, которых в народе называют «психсамовзвод», и если бы в ту минуту я не заверил его в полной преданности, разговор бы пропал даром.

В конце концов мы расстались нежными друзьями, и я, зажав под мышкой два альбома – свой и зубовский, зашагал по направлению к дивизионной типографии, всерьез размышляя, не пойти ли мне после службы учиться на дипломата. Есть ведь такой институт, и учатся там, наверное, тоже люди.

В том, что печать – огромная сила, я убедился на примере своего друга Жорика Плешанова, угодившего с дивизионного распределительного пункта напрямик в типографию солдатской газеты «Отвага». Сначала он страшно возмущался: мол, его, «уникального специалиста», сделали простым наборщиком! Но поскольку редактор – должность офицерская, а Жорик начал свою армейскую карьеру со звания рядового, пришлось ему смириться. Очень скоро мой друг энергично включился в газетную жизнь, отличительная черта которой – тайное protivостояние сотрудников редакции и работников типографии, ведь каждый считает, что газету делают именно они! Поэтому, всякий раз усаживаясь за рычагастый линотип, Жорик скраивал такую физиономию, будто хотел сказать: «Ну и что вы сегодня нацарапали, писатели?» Первое время, набирая тексты, он даже пытался редактировать заметки, но это продолжалось до взбучки, устроенной ему редактором капитаном Деревлевым.

О капитане стоит сказать особо. Когда бы я ни заглянул в редакцию, он, как-то странно вжав голову в плечи, расхаживал по комнате, курил одну папиросу за другой, стряхивая пепел по углам, и комментировал международную обстановку. Сотрудники внимательно кивали головами, даже задавали наивные вопросы, но я уверен – ни одно капитаново слово не застре-

вало у них в голове. Увидев меня, редактор говаривал: «А-а, Купряшин! Привет военкору. Стой и слушай». Я стоял и слушал о безнадежной борьбе подточенного коррупцией правительственного аппарата Италии с мафией, о трудных путях португальской революции, о коварном насаждении «американского образа жизни» в Западной Европе, о фашистских недобитках, скрывающихся в бескрайних латифундиях Бразилии... Если где-то недавно в результате взрыва террористов погиб правящий кабинет, капитан тут же перечислял имена усопших министров, излагал их краткие биографии, не забывая проанализировать политические убеждения, а в довершение набрасывал возможный список нового кабинета – и никогда не ошибался!

Совершенно уморительно Деревлев распекал свой личный состав, того же Жорика. Поставив провинившегося по стойке «смирно», редактор начинал: «Ну что, ребенок в погонах, доигрался? Гайдар в шестнадцать лет полком командовал. Рембо в двадцать лет уже бросил писать стихи. Галуа в твоём возрасте был гениальным математиком. Моцарт в пять лет сочинял музыку...» Это перечисление могло продолжаться сколько угодно, в зависимости от тяжести вины, и в конце концов так изматывало нарушителя дисциплины, что традиционный наряд вне очереди казался избавлением. В довершение всего редактор «Отваги» писал роман под названием «Кремнистый путь». Первые три тома были перепечатаны редакционной машинисткой и переплетены Жориком в красный ледерин. Шла напряженная работа над четвертым томом. Как всякий писатель, Деревлев пристально вглядывался в жизнь, но ведь ни один воинский начальник не желал, естественно, стать прототипом отрицательного героя. Этим, возможно, объяснялся тот факт, что капитан сидел на газете давным-давно и повышения не ожидал...

Редакционная дверь была по-воскресному закрыта, но, судя по звукам, доносившимся из-за нее, там кто-то трудился. Я постучал условленным образом. Внутри затихли: Жорик всегда забывал пароли, которые сам же придумывал накануне. Наконец дверь отворилась, и Плешанов поманил меня черной от типографской краски рукой.

– Привет! – сказал он и смахнул пот со лба, оставив тень на коже. – Никакого отдыха. Начфин заменяется, готовим прощальный адрес – золотым по белому.

– Может, я не вовремя?

– Да брось ты! Они тут все время заменяются. А человек ведь без чего угодно может уехать, хоть без жены, только не без прощального адреса! Так что давай альбом... У тебя что, два альбома?

– Да нет...

– Ну я понимаю, когда у человека два паспорта! А два альбома-то зачем?

– Второй – Зуба.

– Не люблю я твоего Зуба. По-моему, он приличная сволочь!

– Это точно, но, землячок, надо! Тактика!

– «Та-актика!» – передразнил Жорик. – Ладно, давай оба и сиди жди. Можешь подшивочку полистать – успокаивает...

Жорик продолжал свою деятельность золотопечатника, и я подумал о том, каким большим человеком стал он в последнее время, его благосклонности ищут многие «старики». Представьте себе: вы открываете альбом, а на первой странице не тушью, не какой-нибудь, я извиняюсь, гуашью, а настоящим типографским шрифтом оттиснуто: «ДМБ-1985». Эффект потрясающий! Надо отдать должное Плешакову, он не превратил свои возможности в «кормушку» или источник нетрудовых доходов, а помогает лишь друзьям и хорошим людям, имеющим отношение к хранению продовольствия и обмундирования. Честно говоря, я бы никогда не попросил Жорика, если бы не Елин.

До обеда оставалось еще часа два, и я, усевшись на ящик с отработанным типографским металлом, принялся перелистывать годовую подшивку «Отваги». В нескольких местах под замочками я с удовольствием отметил свою подпись «рядовой Купряшин» – это был мой

скромный военкоровский вклад в дело пропаганды передового армейского опыта. В одной из статей я пофамильно упомянул весь наш расчет, и тщеславный Зуб тут же отправил газету своей пензячке. Думаю, от восторга вся Пенза бурлила несколько дней...

Просматривая подшивку, я дошел до номеров, посвященных весенним учениям, и натолкнулся на материал «Точность – обязанность артиллеристов» о расчете сержанта Муханова из соседней батареи. Он и его ребята действительно работают классно, нам до них далеко. Читаем:

*«– Ну как, все в экипаже нормально? – спросил у подчиненного сержант Леонид Муханов.*

*– Порядок! Не подкачаем!*

*Артиллеристы волновались. «Трудный день! – думали они. – Большая ответственность, ведь нам поручено выполнить сложную задачу».*

*Но вдруг размышления были прерваны: переправа! Через приборы наблюдения виднелась водная гладь.*

*– «Первый!» – услышал в наушниках сержант голос командира батареи. – «Противник» – на том берегу. Обеспечь переправу.*

*– Взвод, к бою! – скомандовал Леонид.*

*Самоходные артиллерийские установки перестроились в боевую линию и вышли к урезу воды. Бой за переправу был коротким. Благодаря внезапности удара, умелому маневру огнем, машинами войны, израсходовав минимальное количество боеприпасов, уничтожили все цели, расчистили путь своим товарищам.*

*В итоге подразделение получило отличную оценку. Проверяющий тепло поздравил батарею с очередной победой».*

Я тоже помню ту переправу, но только по-своему – как заряжающий, замурованный в тесном, полутемном и задымленном нутре самоходки, о маневре которой можно догадываться только по резким толчкам, кидавшим меня из стороны в сторону.

Разверзшийся казенник принимал очередные снаряд и гильзу, вместе похожие на стократ увеличенный автоматный патрон, затем в шлемофоне звучало повторенное Титаренко вслед за комбатом «Огонь!». Нас встряхивало, и дышать становилось еще тяжелей... Когда условный противник обратился в бегство, мы откинули люк, вылезли наружу, и небо показалось таким ярким, а воздух таким чистым, как в детстве, когда после двух недель болезни впервые выходишь во двор и дышишь до слез...

Потом мы шли по безжизненному, изрытому воронками полигону и выбирали из земли осколки: сегодняшние – теплые еще, нестерпимо блестящие, и давешние – уже порыжевшие по краям. Перед тем как положить в пилотку, я взвешивал очередной осколок на ладони и представлял, как он мог бы войти в меня, прямо в сердце.

Оказалось, над подшивкой я провел больше часа, потому что Жорик уже закончил адрес для начфина и доделывал альбомы, при этом он сокрушался, что из нового пополнения пока не подобрали молодого наборщика. Был, правда, один из Гомеля, но набирал все по-белорусски – через «а», пришлось отправить в подразделение. И сейчас он, Жорик, уникальный специалист и ветеран типографии, вынужден, как на первом году службы, подметать пол и собирать мусор. За жалобами прошло еще полчаса, и наконец Плешанов протянул мне готовые альбомы:

– Годится?

– О! Ты настоящий друг!

– Ладно, ладно! Это подарок тебе к ста дням!

– Спасибо! А помнишь, как мы в санчасть ходили?

– Дураками были!

– А помнишь, как мы в карантине утку ели?  
– Утку! – Жорик зажмурился. – Разве можно про утку перед обедом? Нет в тебе чуткости, Леша!

Вернувшись в батарею перед самым построением на обед, я вручил ошалевшему от счастья Зубу его альбом, а потом отловил Елина, который бродил вокруг казармы живым укором женскому вероломству, и тихонько спросил:

– Был у Осокина?

– Бы-ыл... – удивленно ответил он, поднимая на меня свои несчастные глаза.

– Ну и как? Следствие ведут знатоки: припомните, кто, где, когда и при каких обстоятельствах оторвал вам голову?..

– Нет-ет, – покачал головой мой подопечный. – Замполит спрашивал: откуда я приехал, кто родители, трудно ли работать пионервожатым?..

– А про пуговицы?

– Нет...

– О чем еще говорили?

– О празднике «Прощание с пионерским летом».

– Молодец! – Мне захотелось обнять парня. – Я бы тебя взял с собой в разведку!

– Меня уже взяли... В кухонный наряд... – сообщил Елин и радостно улыбнулся, словно шел не котлы драить, а получать переходящий вымпел за победу в межобластном трудовом пионерском рейде под девизом «Хлеба налево, хлеба направо».

## 9

*– Не знаю, не знаю... – качает головой Шарипов. – Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бежал! Чтоб мне провалиться!*

– Да что вы из меня жилы тянете! – вдруг тонким заячьим голосом вопит Зуб. – Если что-нибудь случилось, все загудим! Все! Понял?..

– Почему – все? – удивляется Шарипов. – Вот Малик не загудит! Можешь ему свою дембельскую шинель подарить, она ему раньше, чем тебе, понадобится. – Камал кивает на зардевшегося «сынка». – Купряшин не загудит – он умный. Я не загу... Не загу-жу... Скажу им: «Я русский не знай... Ничего не понимай...» – меня и отпустят.

– А меня? – взволнованно спрашивает Цыпленок.

– Тебя? – Шарипов пытается пустить отполированной дембельской пряжкой тусклого лунного зайчика. – Тебя, как отца двух детей, амнистируют. Ладно, хрен редьки не слаще... Пошли на полигон!

Он спрыгивает с самоходки на землю, и мы двигаемся по направлению к выходу, но у самых ворот налетаем на комбата Уварова. Разговаривая с часовым, старлей держит перед собой свою широкоформатную фуражку и платком протирает ее изнутри, точно кастрюлю.

Однажды после действительно бездарно проведенных учебных стрельб комбат пообещал нам «небо в алмазах» и в тот же день, после отбоя, пьяный вусмерть шумно ввалился в казарму, чтобы устроить маленький «блиц-подъем» с построением. Мы посыпались на пол и, дрожа от полночного холода, одевались, теряя накопленное под одеялом тепло. А комбат, покачиваясь, стоял посреди казармы, освещенный тревожным желтым светом, и следил за секундной стрелкой: мы должны были уложиться в минуту. Раза два мы не укладывались, и он хмельным голосом говорил: «Стоп!» Значит, нужно было раздеваться и лезть назад, в остывающие койки. Ребята старались улечься полуодетыми, чтобы сократить время, и наконец выстроились перед казармой. Знобило. Комбат плел что-то о расхлябанности и разгильдяйстве. Потом он неожиданно, чтобы застать врасплох, крикнул: «Отбой! Минута! Время пошло!» Все ринулись в казарму, в дверях образовалась пробка. Передние еще успевали раздеться, а последние бро-

сались на койки в полном обмундировании. Когда последний солдат укрылся одеялом, вошел утомленный Уваров, оглядывая казарму тяжелым взглядом, так же, как сейчас, вытер фуражку, устало буркнул «отбой», выключил свет. Он еще поворчал за дверью на дневального и в свете фонарей прошел мимо окон нарочито твердым шагом. После этого случая примерно на неделю комбат увял: во время построений рассматривал в основном наши сапоги, заводил с солдатами душевные разговоры, а на политзанятиях интеллигентно обходил вопросы укрепления воинской дисциплины.

И вот сейчас, словно не замечая нас, он сурово выпытывает у часового совершенно бессмысленные вещи: знает ли тот рядового Елина из шестой батареи, не видел ли его вблизи автопарка... Наконец, так ничего и не добившись, Уваров поворачивается к нам, надевает свою знаменитую фуражку и командует:

– Ефрейтор Шарипов, постройте людей!

Мы мгновенно оформляемся в кучую колонну по двое.

– Бегом марш! – командует Уваров.

И мы, гроыхая сапогами, устремляемся в сторону полигона, откуда доносятся хриплые гудки ночного товарняка.

– Раз-два-три... – командует комбат. – Раз-два-три...

\* \* \*

Может быть, самое приятное время в армии – послеобеденное ожидание писем. В курилке (этим словом обозначается врытая в землю железная бочка и скамейки вокруг нее) нас собралось человек пятнадцать, и мы терпеливо ждали, пока неторопливый полковой почтальон (а куда торопиться – служить еще год) разберет сегодняшние письма. Почта расположена как раз напротив нашей казармы, и обычно, закончив сортировку, он высовывает голову в форточку и кричит: «Шестая батарея!»

Армейские письма! Благодаря им солдат живет как бы в двух измерениях: здесь, в данной в/ч, и там – дома! И сколько раз было так, что мое тело сноровисто выполняло очередной приказ командира, а душа жила тем временем на гражданке – в строках полученного письма. Две эти жизни – реальная и воображаемая – кровно связаны, и тяжелее всего бывает, когда обе они складываются паршиво, как случилось у Елина. Он даже не подошел к курилке, а стоял один в стороне, прислонившись спиной к стене казармы, и тоже, наверное, надеялся получить письмо хоть от кого-нибудь. Действительно, в таком состоянии лучше всего занять себя работой, а на кухне ее навалом.

Мы ждали. Шел обычный, ничего не значащий треп, пересыпанный анекдотами. Через равные промежутки времени курилка взрывалась хохотом. Уморительную историю рассказал Валера Чернецкий. Все якобы произошло на самом деле.

Общеизвестно, что главная проблема для дембеля – обновление личного гардеробчика. За два года сильнее всего изнашиваются шапка и ремень. Шапка вытирается, теряет форму, а ремень лоснится и становится скользким, как змея. Понятно, никакой старшина нового обмундирования специально для дембеля не выдаст. А тут приезжают молодые: шапочки, словно одуванчики, ремешки новенькие, покрытые шоколадной корочкой. Так вот, одному «старика» позарез нужна была новая шапка – свою он на учениях прожег. Думал он, думал и придумал вот что. В их части «зеленый домик» стоял на отшибе, да еще неэлектрифицированный. Днем ничего, а вечером того гляди – утонешь! Выследил этот парень, когда перед сном туда молодой заглянет, выследил – и за ним. Усек в темноте скорчившийся силуэт, хватанул – есть шапка! Но «старика» – люди справедливые: нельзя же молодому без шапки – простудится. Со словами: «Носи, сынок!» – он нахлобучил молодому свою замурзанную ушанку, выбежал на волю, отмахал метров триста и под первым же фонарем решил полюбоваться на приобретение. Взглянул и

обледенел: шапка – цигейковая – офицерская! Оказывается, одновременно с молодым о жизни размышлял ротный, которого настолько возмутило наглое нападение, что он тут же поднял подразделение по тревоге и построил на плацу, рассуждая, вероятно, так: или вор в офицерской шапке, или простоволос. Провели перекличку – все на месте, все при своих шапках, и никаких следов пропавшего головного убора: каптерщик вырубил... Чем же, вы думаете, все кончилось? Правильно: ротный на следующий день приказал электрифицировать сортир!

И снова – хохот.

Наконец принесли письма. Больше всех, как обычно, получил Шарипов – четыре! Зуб, не получивший ни одного, раздраженно заявил, что у Камала весь кишлак – родственники, даже ишаки.

Нисколько не огорченный отсутствием писем, я заскочил в бытовку, полюбовался на себя в зеркало, взял из тумбочки книжки и уже видел, как поднимаюсь по скрипучей лестнице в библиотеку, но вдруг перед казармой появился Уваров. Он был в штатском – отличных вельветовых джинсах, замшевой куртке – и вел за руку дочку, четырехлетнюю Лидочку. Подобные явления в части не редкость: офицеры и прапорщики живут рядом, в полукилометре от казарм, и прогуливаются иногда в сторону вверенных им подразделений, сочетая моцион с проверкой обстановки.

Разумеется, ребенка сразу же подхватил подхалим Цыпленок и принялся подбрасывать вверх, приговаривая: «Гоп-чуки, гоп-чуки!» Лидочка, выросшая в военном городке и привыкшая к вниманию рядового состава, смотрела на мучителя кротко и обреченно. Комбат поинтересовался у Титаренко, как дела, сообщил, что послезавтра ожидается учебная тревога, потом исподлобья глянул на меня с Зубом:

– Пойдемте. Поговорим.

Оставив дочь на руках чадолюбивого каптерщика, Уваров направился на середину нашего батареиногo плаца, мы поплелись следом. Неожиданно комбат остановился и, резко обернувшись к нам, спросил:

– Так что произошло с рядовым Елиным?

Зуб засопел и побагровел. Я молчал.

– Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов. – Комбат шевельнул резко вырезанными ноздрями. Если Уваров переходил на «вы», это означало одно: он в бешенстве.

Я смотрел на модные, ослепительно белые штиблеты комбата. Мне всегда нравились его щеголеватость, азартность, умение «завести» ребят. И все-таки мне кажется, он не до конца понимает, что командует живыми людьми, каждый из которых ревностно следит за любым командирским шагом, дает ему ежеминутную оценку. Вот и сейчас, присматриваясь к комбату, одетому во все гражданское (а форма делает человека старше, мужественнее, что ли), я по-настоящему почувствовал, какой он молодой... Старше нас лет на пять-шесть!

– Что у вас, товарищ ефрейтор, произошло с рядовым Елиным? – грозно повторил Уваров.

– Я его не трогал...

– А пуговицы у него сами собой отлетели? – ядовито усмехнулся комбат.

Зуб мстительно поискал глазами Елина.

– Ну так вот, – попытожил старший лейтенант. – Не умеешь молодых тихо воспитывать – я буду тебя воспитывать. Три наряда вне очереди.

– Есть три наряда вне очереди, – угрюмо повторил Зуб.

– Домой собираешься? – Комбат иронически оглядел ефрейторскую стрижку. – К последней партии отрастут в самый раз!

Зуб дернулся и уперся взглядом в землю. Поехать с последней партией – самое большое наказание для «старика». Это значит – прибыть домой на месяц, а то и на полтора позже, чем другие. О таком даже думать невозможно!

– А ты, Купряшин, – дошла очередь до меня, – не делай вид, будто тебя ничего не касается. В расчете – бардак, а его из библиотеки за уши не вытащишь. Ты меня понял?

– Не понял, товарищ старший лейтенант.

– Поймешь, – пообещал комбат. – Кругом!

Мы повернулись по-уставному, сделали несколько шагов и остановились, дожидаясь, пока Уваров отберет у Цыпенка окончательно утомленную Лидочку и нервным шагом покинет плац. Все это время Зуб раскалялся, как кусок железа на углях, так что к моменту, когда комбат скрылся из виду, ефрейтор был уже весь белый и шипел.

– Ну, гадина, ну, стукач! Убью! – заорал он наконец.

Я рванулся следом за ним, пытаюсь на ходу объяснить: Елин не жаловался, комбат сам все понял или ему капнул кто-то другой, я даже попытался схватить Зуба за руку, но он оттолкнул меня в сторону и так дернул ничего не понимающего Елина за ремень, что тот чуть не переломился, а его пилотка отлетела далеко в сторону.

– Ну... ну, салабон, – сказал, задыхаясь от ненависти, ефрейтор. – А я его еще пожалел... Крыса его бортанула! Ай-ай-ай! Так тебе, гаду, и надо!

В подобных случаях пишут: «Его словно что-то толкнуло», но меня и в самом деле будто толкнуло, и я с такой силой вклинился между Зубом и Елиным, что оба отскочили в стороны.

– Не трогай его! – заорал я.

– Ты что, обалдел? – опешил ефрейтор и тут же шарахнул меня в челюсть.

Споткнувшись о лавочку, я кувырком полетел в кусты, росшие вокруг курилки. Земля рванулась навстречу, точно конец незакрепленной доски. Удар был несильный, и тотчас, вскочив, я засветил Зубу кулаком в живот, а после того как он присел от боли, еще – по затылку. После проделанного я вдруг на мгновение воспарил над землей, а затем довольно грубо был отброшен в сторону. Это Титаренко вмешался в наш честный поединок и, взяв меня за шиворот, дал команду: «Брэк!» И, надо сказать, чрезвычайно своевременно, потому что одетый как на парад лейтенант Косулич с повязкой дежурного уже направлялся к нам, чтобы построить и увести солдат, идущих в кухонный наряд. Сквозь очки он поглядел на бурно дышавшего Зуба добрыми глазами и спросил:

– Боролись?

– Вся жизнь – борьба... – ответил я за ефрейтора, закрывая пальцами царапину на щеке.

Слава богу, командир взвода не видел нашей схватки, а то бы сидеть нам на «губе» – в отрезвляюще-прохладной комнатухе с местом для заслуженного отдыха, похожим на маленькую деревянную сцену.

## 10

– Раз-два-три, – командует Уваров, – раз-два-три...

Комбат бежит сбоку от нас, бежит легко, но лицо его неподвижно. И я представляю себе, как сегодня ночью он проснулся от телефонного звонка, включил ночник и хрипло отозвался в трубку: «Старший лейтенант Уваров слушает... Что?! Как пропал?!»

От шума, наверное, проснулась Таня, она села на кровати рядом с комбатом и, щурясь от света, испуганно спросила: «Кто пропал? Сережа, что случилось?..»

Нет. Не так. Вместе им спать совершенно необязательно.

Сквозь закрытую дверь Таня услышала звонок и громкий голос Уварова. Она подняла голову, покосилась на тихо посапывающую Лидочку, потом накинула халат и выглянула из своей комнаты:

«Кто пропал? Уваров, что случилось?»

«Солдат пропал», – не повернувшись в ее сторону, отозвался комбат.

«Какой солдат?»

«Какой, какой... Елин!»

«Елин? – переспросила Таня. – Это которого Зубов избил?»

«Ну что ты лезешь не в свое дело! – закричал на нее Уваров. – Сиди в своей библиотеке – и не лезь!»

От мысли, что жене известно все происходящее в батарее, комбату сделалось стыдно. Так бывает и со мной, когда, бреясь в умывалке, начинаешь строить перед зеркалом рожи и лопотать разную слюнявую чепуху, а сзади, за спиной, незаметно появляется кто-нибудь и, ухмыляясь, наблюдает за тобой. Потом ты оглядываешься...

«Что же теперь будет?» – с тревогой спросила Таня.

«Ничего не будет! Я им устрою веселую жизнь! Защитнички...»

– Раз-два-три, – командует комбат. – Шире шаг...

Мы выскакиваем за ворота городка и поворачиваем к полигону.

\* \* \*

– Ну а с тобой, друг индейцев, я еще поговорю! – пообещал Зуб и ушел зализывать раны.

Испугал ежа голыми руками! Мы одного призыва – как-нибудь разберемся, даже если накрутит против меня «стариков». Но какая он все-таки сволочь, ткнул Елина в самое больное место, да еще пригрозил: из наряда, мол, лучше не возвращайся! Не нравится мне, как Елин среагировал – оглянулся затравленно, даже безысходно, а на меня поглядел с укором: мол, эх ты, трепло... Вот так считаешь себя умным человеком, а потом выясняется, что ты балда балдой и только все портить умеешь: додумался, с кем елинским горем поделиться... «Дебил в четвертом поколении», – как говорит старшина Высовень.

Размышляя таким образом, я снова отправился в бытовку привести себя в порядок. Протравил одеколоном царапину на щеке, убедился, что синяк на скуле проявится лишь к вечеру, почистил гимнастерку, выкурил, чтобы успокоиться, сигарету и наконец отправился в наше книгохранилище.

Путь мой пролегал через полковой плац.

Сколько разводов отстоял я на этом брусчатом поле, сколько раз строевым шагом, вывернув голову до отказа вправо, прошел мимо дощатой трибуны, мимо командира полка, замершего с приложенной к козырьку ладонью, прошел, нещадно лупя сапогами камень в такт ухающему где-то за спиной большому полковому барабану. Скоро мой последний развод!

...В библиотеку ведет узкая скрипучая лестница. Достаточно встать на первую ступеньку, а наверху уже знают, что сюда движется новый читатель, и невольно поглядывают на дверь...

За столами, перелистывая журналы, сидели несколько солдат. Между стеллажами бродил библиотечный кот Кеша и наворачивался на ноги всем входящим. Пахло старой отсыревшей бумагой, но иногда пробивался вдруг острый запах свежей типографской краски.

Последние месяцы я проводил в библиотеке все свободное время. Не только потому, что люблю читать и «завалился», между прочим, не куда-нибудь, а на исторический факультет. Была еще одна причина. Ее – не причину, конечно, – зовут Таня Уварова. Раньше библиотекаршей у нас работала одна вольнонаемная дама, она так страдала, глядя на копавшихся в книжках солдат, словно они рылись в ее интимном дневнике. За настоящих читателей дама признавала только офицеров не ниже майора.

Но вот однажды, заявившись в библиотеку, я застыл на пороге: за столом сидела девушка в пушистом свитере, чем-то неуловимо похожая на Лену. Не пойму чем: то ли мальчишеской прической, то ли грустными серыми глазами, то ли особенной манерой улыбаться, чуть подымая уголки губ. Это внезапное сходство прострелило навывлет мое разочарованное солдатское сердце, и с той минуты при первой же возможности я шел в библиотеку, садился в дальнем углу и смотрел на нее, загордившись подшивкой газет. Постепенно живая боль по Лене пре-

вращалась в воспоминание о боли. Один только вид Тани, которая, утопив пальцы в густых темных и, наверное, очень жестких волосах, склонялась над книгой или терпеливо разъясняла кому-нибудь, что детективов пока нет, а про любовь обязательно есть в любом художественном произведении, совершал в моей душе некую просветляющую работу: я не так скучал по дому, мне просто было радостно жить. Постепенно Таня стала замечать книголюбивого солдатика и удивленно поглядывала в мою сторону.

Офицерские жены невольно воспринимают солдат как массу одетых в защитную форму молодых парней, которыми их мужья командуют по долгу службы, о которых все время говорят и помнят. Естественно, заботы офицеров передаются их женам, они тоже думают о подчиненных мужа, но не конкретно, а про всех скопом, лишь иногда запоминая имена: Кузюкин, мол, отстрелялся на «пять», не подвел, а Мусюкин, паразит такой, как написали бы в «Отваге», попался «при попытке употребления алкоголя», и теперь мужу врежут за слабую воспитательную работу в подразделении. Но даже тогда и хороший Кузюкин, и плохой Мусюкин остаются всего-навсего символами доблести или разгильдяйства. Конечно, обидно, но понятно: нас в полку сотни, не запоминаем же мы в лицо и по имени тех, с кем – пусть даже часто – ездим на работу в одном автобусе.

Но года три назад в нашем полку случилось невероятное! Один «старик» увел жену у своего же взводного: у супружников что-то не ладилось, поженились наспех, не разобравшись, как часто бывает после училища, а парень – солдат – был симпатичный, в полковом ансамбле играл. Артист! Одним словом, дембельнулся вместе с командирской женой. И говорят, очень хорошая семья получилась!..

Однажды, когда в библиотеке никого не было, я осмелился заговорить с Таней. Точнее, она, утомленная моими восхищенными взглядами, иронично заметила:

– Товарищ воин, глазами нужно есть командиров, а не их жен!

– Это смотря по какому уставу! – неожиданно для себя схамил я.

– Скажите пожалуйста, – удивилась Таня, – он еще и остроумный.

– А вы полагали, солдат вместе с паспортом и мозги в военкомат сдает?

– Нет... А вообще-то немного – да! – улыбнулась она уголками губ. С тех пор мы стали разговаривать.

Первое чувство солдата к офицеру: несправедливо! Вроде такие же люди, но живут вольно, с семьями, получают хорошую зарплату, развлекаются, а для тебя – жесткая дисциплина. Но, взглянув на эту «сладкую жизнь» Таниными глазами, я стал сочувствовать людям, существующим по принципу «нынче здесь – завтра там». Оказалось, Таня недавно окончила экономико-статистический институт, ее подруги по факультету работают, учатся в аспирантуре, а она сидит здесь, за забором и даже начинает забывать специальность. Одна надежда, что мужа пошлют в академию, но Уваров вдрызг рассорился с отцом-генералом, и тот пока от помощи воздерживается. В городке Таня ни с кем близко не знакома, наверное, потому, что наш комбат, гордый, как горный орел, с людьми сближается очень туго и прекрасно обходится без друзей, но зато часто заглядывает в офицерское кафе. Из-за этого вся их семейная жизнь – одна перманентная ссора...

Изголодавшись по откровенности, Таня делилась со мной всем, точно с лучшей подругой, а я отключал слух и смотрел, как она говорит, как поправляет волосы, как пожимает плечами, недоумевая, о чем думает ее муж и думает ли он вообще?!

Уваров иногда заходил в библиотеку. Он знал, что у его жены сложились дружеские отношения с неким рядовым Купряшиным из небезызвестной ему шестой батареи, но вряд ли догадывался об искренности наших разговоров, воспринимая – и, наверное, справедливо – наши отношения как дружбу взрослой женщины с каким-нибудь безобидным семиклашкой. Да и у меня самого было странное ощущение: не то чтобы я не чувствовал себя парнем или там мужиком, нет, но я не чувствовал себя кавалером – есть такое почти забытое слово. Мне мешало все:

и вкус солдатского обеда во рту, и тяжелые сапоги, и залоснившиеся галифе, и несвежее белье на теле... А Таня, наверное, понимая мое состояние, относилась ко мне еще добрее. Когда же я рассказал ей про Лену, она грустно улыбнулась:

– Знаешь, Лешенька, может быть, это самая большая удача в твоей жизни, что получилось у вас именно так!

У нас был договор: пока в библиотеке кто-то есть, своих дружеских отношений не показывать, поэтому и сегодня я подошел к ее столу с равнодушным, как у деревенского гармониста, лицом. Она взглянула на меня снизу вверх и вопросительно показала пальцем на щеку. Непередаваемой игрой бровей я ответил, что потом все объясню.

– Вам что-нибудь почитать? – бесцветно поинтересовалась Таня.

– Что-нибудь новенькое.

– Вот, здесь есть про армию. – Она протянула свежий номер молодежного журнала.

Рассказ назывался «Письмо без марки». Краткое содержание: воин-разгильдяй тянет назад все подразделение, никого не хочет слушать, боится только свою девчонку-доярку, которая героически ждет его на гражданке. Командир взвода – хмурый, но добрый человек – сначала не знал, что ему делать с разгильдяем, но потом к командиру приехала жена, вникла в проблемы подразделения и додумалась. Она написала письмо разгильдяевой подруге и попросила повлиять. Та взяла отпуск на ферме и приехала к своему недисциплинированному другу. О чем они говорили в ленкомнате, никто не слышал, но вскоре на учениях бывший разгильдяй первым ворвался в расположение воображаемого противника, о чем и сообщил своей далекой подруге в письме без марки.

Я не заметил, как опустела библиотека, как, досвиданькнув, ушел последний читатель.

– Ну, так что же у тебя случилось? – откинувшись на спинку стула, спросила Таня.

– С Зубом я подрался.

– Это который на поросенка похож?

– Да.

– А из-за чего?..

– Из-за одного молодого. Из-за Елина.

– Бедненький, – сказала она ласково и вдруг подошла ко мне какой-то таинственной походкой. – Несчастный, поцарапанный! – Таня провела холодными пальцами по моей щеке. У меня перехватило дыхание, я задержал ее руку и посмотрел в ее потемневшие, ставшие очень внимательными глаза. И вдруг заметил, что у Тани очень много маленьких родинок – почти точек, они начинались на щеке, сбегали ниже, вдоль шеи, и пропадали за пушистым воротом свитера. Я, задыхаясь, смотрел на эту тропинку из родинок и крепче сжимал ее прохладные пальцы...

Застонала первая ступенька, и через минуту, опережая собственный грохот, в библиотеку ввалился запыхавшийся сержант. Подкатив к столу, он вынул из-за ремня растрепанную книжку и спросил:

– Я не опоздал?.. Еркин – моя фамилия... Батарея управления.

– Нет! Не опоздали...

Таня нашла его абонемент и глянула вопросительно.

– Мне бы опять что-нибудь про любовь! – заискивающе пробормотал тот.

– А вам про какую: про счастливую или несчастную? – улыбнувшись уголками губ, уточнила Таня.

– Про любую! – не задумываясь, ответил сержант Еркин.

## 11

– *Шире шаг!* – командует комбат.

Мы выскакиваем за ворота гарнизона и поворачиваем к полигону. Бежать трудно, ноги проваливаются в колеи и рытвины, оставленные гусеницами «самоходок». На горизонте появилась узенькая светлая полоска, точно кто-то, замерзнув к утру, натянул на голову черное байковое одеяло ночи и обнажил при этом сероватое солдатское белье.

Возле блиндажа, похожего в полутьме на огромную болотную кочку, толпятся солдаты во главе с лейтенантом Косуличем. Увидев комбата Уварова, он вздыхает, поправляет пальцем очки и бросается к начальству, чтобы доложить результаты поисков. Чернецкий и Титаренко уже здесь. Они стоят немного поодаль, вид у них хмурый, от бравой стариковской самоуверенности не осталось и следа.

– Не журишь, хлопец! – жалобно просит Камал и утыкается лицом в гранитное плечо Титаренко.

Среди тех, кто собрался возле блиндажа, есть и малознакомые парни из батареи управления. Оказывается, с вечера они залезли в подвал и в честь ста дней решили приготовить в походном котелке настоящий узбекский плов. Там их и обнаружил лейтенант Косулич. Повинуясь душевному порыву, а также искупая грех чревоугодия, парни из батареи управления горячо включились в поиски Елина.

– Вон из-за того кошкодава дергаемся! – кивает кто-то из них на Зуба. – Морду ему набить!

Комбат Уваров, рассеянно поправляя на голове свою беспримерную фуражку, слушает обстоятельный доклад лейтенанта Косулича. А мы топчемся на одном месте, ежимся от предутренней прохлады и обсуждаем, куда все-таки мог исчезнуть Елин и где еще можно поискать. И в этот миг, словно светящиеся трассеры, темноту пронзают огоньки курьерского поезда. Раздается хриплый, как звук саксофона, гудок.

И тогда, не сговариваясь, без команды мы бросаемся мимо мишеней, мимо деревянных макетов танков туда, на край полигона.

– Рассредоточиться вдоль железнодорожного полотна! – торопливо командует Уваров. – Дистанция – десять метров!

Я мчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю, вскакиваю, снова бегу... И, только ухнув с размаху в глубокую дренажную канаву, останавливаюсь, перевожу дух и, внимательно оглядываясь, бреду вдоль железной дороги. Я холодею и вскрикиваю, наткнувшись на брошенный и окаменевший мешок цемента, напоминающий очертаниями человеческое тело. Во мне крепнет уверенность, что Елина найду именно я...

Но кто же мог подумать, что Елина найдет Цыпленок?!

\* \* \*

Во время ужина я старался не смотреть в сторону Зуба – не хотелось портить того чувства веселого всесия, которое переполняло меня после разговора с Таней. И все-таки боковым зрением я заметил, как ефрейтор, округлив глаза, что-то горячо доказывал хмуру кивавшему Титаренко. Поев, я заглянул в мойку и обнаружил там Малика. С выражением страдания на интеллигентном лице он очищал алюминиевые миски от остатков пшенной каши.

– А где Елин? – удивился я.

– В санчасти.

– Где?! А что случилось? – Я невольно обернулся и поискал глазами Зуба, неторопливо допивавшего свой чай.

– Кажется, живот заболел. Скоро придет...

– Ну, живот не голова. Слушай, Малик, когда Фима вернется, скажи ему: пусть не психует и ничего не боится. Все будет нормально. Понял?

– Понял, – ответил он с чуть заметной иронией воспитанного человека, услышавшего несусветную чушь, но в силу своей тактичности удержавшегося от комментариев...

«Может быть, и вправду не стоит лезть во всю эту свару?» – рассуждал я, сидя в полковом клубе и созерцая кинофильм про войну. За спиной кто-то спорил о том, из чего сделаны немецкие «тигры» – из фанеры или настоящие. Сначала я тоже на полном серьезе обдумывал эту проблему, но потом мои мысли снова вернулись к Елину: «Странно... Днем не жаловался, а вечером вдруг побежал в санчасть!»

Затем я принялся ломать голову, как мне вести себя во время объяснения со «стариками», а оно, судя по той бурной агитационной деятельности, какую развил Зуб, не за горами. Мне припомнилось, как год назад «старики» под председательством Мазаева судили одного «лимона» за то, что тот воровал из тумбочек жратву, а сваливал вину на якобы всегда голодных «сынков». «Лимона» разжаловали в «салаги» – и уже на следующее утро он драил вместе с молодежью казарму, управлял Мазаеву койку...

Наступая в темноте на ноги, я выбрался на воздух покурить. В темноте терялись черные объемы автопарка. Стояла трескучая цикадная тишина, нарушаемая воем авиабомб и стуком пулеметов, словно недалеко шел бой. А бой-то шел на белой натянутой простыне, но чувство все равно такое, будто война вот-вот может шагнуть сюда. Из клуба донеслись победные крики. Очевидно, взяли Рейхстаг. В черном небе беззвучно плыл крест, составленный из разноцветных огоньков, с пульсирующей точкой посередине...

После вечерней поверки и отбоя, когда все уже лежали в койках, старшина Высовень, подозрительно поводя носом, несколько раз обошел казарму, словно старался разнюхать, какой сюрприз готовит ему целый состав батареи по случаю ста дней до приказа. Он даже толкнул притворно похрапывающего Шарипова.

– А? Что?! Товарищ прапорщик... – вскинулся тот, будто внезапно разбуженный.

– Смотри, казанская сирота! Ох, смотри! – пригрозил старшина.

– Вы о чем?

– Все о том же!

Камал недоумевающе пожал плечами и, картинно уронив голову на подушку, закрыл глаза. Прапорщик пробубнил еще что-то дневальному, сходил наверх в каптерку, видимо выискивая спиртное, и наконец ушел. Как только Высовень мелькнул мимо окон, Шарипов открыл один хитрющий глаз, потом другой, подмигнул мне и громко сообщил, имитируя гнусавое вокзальное радио:

– К сведению «стариков»: через десять минут в каптерке состоится торжественный товарищеский ужин, посвященный ста дням. Приглашаются все, кому положено.

Мне положено, но я решил не ходить, остался лежать в койке, прислушиваясь к топоту, доносившемуся со второго этажа, из каптерки, и даже начал засыпать, когда меня растолкал Шарипов:

– Вставай, турок, дембель проспишь!

– Я не хочу, гуляйте без меня...

– Э-э! Вставай, Черт Иваныч! – настойчиво повторил он. – Разговор будет...

Делать нечего, я прыгнул на холодный пол, быстро оделся и поплелся в каптерку. Завидев меня, стоящий на «тумбочке» Аболтыныш предостерегающе приложил к погону два пальца и показал глазами наверх. Все это означало: здесь офицер! Я было дал задний ход, но тут из бытовки торопливо вышел лейтенант Косулич. Я приготовился к подозрительным расспросам: куда, мол, одетый, откуда и почему, даже придумал правдоподобную «дезу»... Но встревоженный взводный только рассеянно кивнул мне...

– Что он хотел? – спросил я у дневального, когда стукнула входная дверь.

– Не знаю... Спрашивал про Елина, – ответил Аболтыныш.

– Елина? – удивился я. – Он же в санчасти...

– А-а... Наверное, госпитализировали...

– Наверное...

В центре каптерки, напоминающей склад «Военторга», стоял стол-многоножка, сооруженный из четырех табуретов. Вокруг него сидели наши батарейные «старрики» во главе с могутным Титаренко. Прислуживал им Цыпленок. Когда я вошел, в комнате царил басовитый гвалт.

– А вот и друг индейцев! – с издевкой показал на меня раскрасневшийся Зуб. – Без особого приглашения не идет – брезгует! А может, он себя уже и «стариком» не считает? А?!

– Ладно, погоди! – морщась, перебил ефрейтора Титаренко и подвинул мне табурет. – Садись... Праздник сегодня!

– А ну-ка, Леха, махани! – потребовал веселый Шарипов и налил мне из алюминиевого чайника бражки.

Я сел, без всякого удовольствия поздравил ребят, потом подцепил вилкой волокнистую тушенку, закурил и стал ждать продолжения разговора. Табачный дым плавными слоистыми облаками поднимался к потолку. Висевшие вдоль стены «парадки» казались какой-то фантастической, словно спрессованной, колонной солдат.

– Конечно, день сегодня не такой, чтобы... – после долгого молчания медленно начал Титаренко. – Но давайте, мужики, все-таки разберемся...

– А что разбираться! – быстро отозвался Шарипов. – Два «старика» из-за «сынка», как собаки, сцепились... Позор!

– Ты, Купряшин, конечно, зря в драку полез, – согласился сержант. – Но и ты, Зуб, тоже меры не знаешь...

– Значит, я виноват? Я?! – взвился ефрейтор. – Хорошо. Дайте мне сказать. Я, выходит, скотина, а Купряшин заступничек? А за меня кто-нибудь заступался, когда я день и ночь на Мазаева ишачил?.. Я только говорил себе: «Терпи, Саша, «стариком» будешь...» Так почему же я честно отмотал свой год «салагой», а какой-то паршивый Елин хочет дуриком прожить, да еще этот (он показал на меня) за него заступается? Или, может быть, так и нужно? Тогда давайте с завтрашнего дня жить по уставу: все вместе вкалывать... Чернецкого пошлем сортир мыть, Шарипова – окурки по территории собирать... Наплевать, что «салабонам» еще два года служить, а мы уже «парадки» приготовили. Полное равенство! Как в Конституции. Замполит нас всех расцелует, да еще благодарственные письма домой отправит: «Ваш сын проявил чудеса героизма в борьбе с неуставняком...» Вы так хотите? Давайте. Давайте прямо с утра и начнем: я побегу к Елину прощение просить, а вы...

– Не ори! – оборвал его Титаренко. – Не ори... Мы не глухие. Кто еще хочет сказать?

– А что говорить? – снова встрял Шарипов. – Пусть подадут друг другу руки... Такой день сегодня, елки-моталки!

В ответ я демонстративно заложил ладони за ремень, а Зуб непримиримо ухмыльнулся. Мы помолчали. Шарипов гонял по тарелке скользкий кусочек селедки, Титаренко барабанил пальцами по колену, Чернецкий выкладывал из хлебных шариков цифру «1», Цыпленок, попавший на нашу тайную дембельскую вечерю по праву каптерщика, делал страшные глаза и, шевеля губами, согласно мотал головой, словно от его мнения что-то зависело.

– Дай-ка я теперь скажу, – прервал тишину Чернецкий. – Сначала – о Зубе... Знаешь, Саня, ты не обижайся, в тебе столько злобы накопилось, такие стратегические запасы... Ты уж постарайся – распределяй равномерно между всеми молодыми. Я Купряшина поддерживаю: что ты в Елина вцепился? Доведешь парня до точки, потом будешь, как тот мордovorот, на суде «мамочка!» орать... И мы с тобой влипнем.

– Значит, опять я виноват! А ну вас всех... – Зуб с грохотом рванулся к двери.

– Сядь! – вернул его на место Титаренко. – Сам разговор начал – теперь слушай!

Дождаясь, пока восстановится тишина, Чернецкий катал из мякиша серые горошины и вслед за единицей стал выстраивать ноль.

– Несколько слов о моем друге Купряшине, – наконец продолжил он. – Скажи мне, Леша, скажи честно: против чего ты борешься? Чего ты хочешь? Елина защитит или всех «стариков» как класс уничтожить?

– Я хочу справедливости! – послышался мой ответ.

– Какой?

– Что значит – какой? – не понял я.

– А то и значит, – с готовностью объяснил Чернецкий. – На словах у нас одна справедливость, а в жизни – совсем другая! Ты думаешь, люди на «стариков» и «салаг» только в армии делятся? Ошибаешься. Разуи глаза: эти на работу пехом шлепают, а те в черных членовозах ездят, эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются, эти... Или вот пример: меня из института, дело прошлое, за прогулы поперли – заигрался в любовь с одной лялькой. А мой однокурсничек, сынок председателя горисполкома, даже на сессиях не показывался, однако окончил институт с красным дипломчиком и за границу стажироваться поехал... Выходит, он – «дед», а я – «сынок». Вот так! Запомни, Купряшин: там, где появляются хотя бы два человека, сразу встает вопрос – кто командует, а кто подчиняется.

Я сидел и ошалело смотрел на Валерку, развернувшего передо мной целую неуставную философию, а ведь это был тот самый парень, который всего год назад изображал гудок в излюбленном казарменном представлении «Дембельный поезд». Делалось это так: рядовой Мазаев блаженно возлежал на койке, а несколько молодых раскачивали ее с ритмичным перестуком, создавая полную иллюзию мчащегося вагона. Другие «салаги» бегали вокруг, размахивая зелеными ветками, и обозначали убегающий дорожный пейзаж. Валера через равные промежутки рожал протяжный железнодорожный звук. А я был свежим встречным ветерком...

– И последнее, – помолчав, прибавил Чернецкий. – Я допускаю, Лешенька, что «стариковство» идет вразрез с твоими нравственными принципами. Я уважаю твои убеждения, но тогда у меня вопрос: как мы будем жить дальше? Если ты не будешь «стариком», придется быть «салагой», третьего не дано. Вольные стрелки только в сказках бывают... подумай хорошенько! На этом, полагаю, можно закончить нашу профилактическую беседу, все-таки праздник сегодня!

Чернецкий замолчал, хмыкнул и снова стал катать хлебные шрапнельки.

– Ты будешь говорить? – спохватившись, спросил меня Титаренко, за долгим монологом он совершенно забыл о своих председательских обязанностях.

Говорить... В розовощеком детстве я очень любил смотреть телевизор, особенно взрослые фильмы, где постоянно кто-то с кем-то спорил. Конечно, мне были непонятны причины их разногласий, меня волновало другое: кто прав? Я спрашивал об этом отца, он, не задумываясь, указывал пальцем на мечущийся по экрану серо-голубой силуэт и объяснял: вон тот! Тогда у меня возникал другой вопрос: если «вон тот» *прав*, то почему же этого никак не хотят понять другие люди из телевизора? Почему? С возрастом я понял: мало знать истину, нужно еще иметь луженое горло, ослиное терпение и крепкие, как нейлоновая удавка, нервы...

– Ребята, – с соглашательской гнусавинкой заговорил я, обводя взглядом «стариков», – пусть каждый из нас останется при своем мнении... Пусть! Но ведь нужно быть человеком независимо от того, сколько ты прослужил.

– Человек – это звучит гордо! – заржал Зуб.

– Заткнись, кретин, – взорвался я, понимая, что все порчу, но остановиться не мог. – Тебе, как человеку, про Елина рассказали, а ты что сделал, подонок?!

– А что Елин сделал? – передразнил ефрейтор. – Бегал жаловаться Осокину!

– Кто тебе сказал?

– Видели...

– За стукачество наказывать надо! – сокрушенно покачал головой Шарипов.  
– В самом деле, Леха, такие вещи прощать нельзя! – поддержал Чернецкий, отрываясь от хлебных шариков. – Чтоб другим неповадно было!

– Пусть только из наряда вернется! – Зуб стукнул ребром ладони о табурет.

И я понял, что теперь нужно спасать не абстрактную идею казарменного братства, а конкретного рядового Елина с редким именем Серафим.

– Он не жаловался. Это точно! – твердо сказал я.

– Откуда же комбат все знает? – ехидно поинтересовался Зуб.

– А ты думаешь, у Уварова мозгов нет и он не догадывается, кто больше всех к молодым лезет?

– А почему комбат раньше молчал?

– А ему так спокойнее: ты молодых держишь, он – тебя, и порядок. Только вот накладочка вышла: майор засек, как Елин выданные пуговицы пришивал... Понял?

– Понял! Ты сам комбату и настучал!

– Что-о?!

– Малик видел, как ты в штаб бегал! – торжественно сообщил Зуб.

Повисла тяжелая, предгрозовая тишина. Хорошо телевизионным героям, они в конце концов доказывают свою правоту, в крайнем случае дело заканчивается оптимистической неопределенностью! А что делать мне? Оправдываться, суетливо пересказывать разговор Уварова и Осокина, а потом снова уверять, что Елин не ябедничал... Можно... Но мной овладела какая-то парализующая ненависть ко всему происходящему, какое-то черное равнодушие...

– Леха, почему ты молчишь? – тревожно спросил Чернецкий. – Зачем ты ходил в штаб?

– Стучать, – коротко и легко ответил я.

– Ты соображаешь, что несешь? – медлительно опешил Титаренко.

– Могу повторить: сту-чать...

– Купряшин, не выдывайся, не ври! Скажи, что ты врешь! – почти попросил меня Валера Чернецкий. – Он сейчас скажет!..

Я молчал. Ребята сидели потупившись. Цыпленок смотрел на меня с ужасом. За обоями скреблись мыши. Титаренко встал:

– Какие будут предложения?

– Гнать его из «стариков»! – сладострастно крикнул Зуб.

– Будем голосовать? – неуверенно спросил сержант.

И мне стало смешно. Голосовать! Даже сейчас не нашлось никаких других слов! Может быть, они еще постановление станут читать?

– Единогласно... – обведя взглядом поднятые руки, продолжал Титаренко. – Принято решение: считать Купряшина... Ну, в общем, с завтрашнего дня до «дембеля», Леш... Купряшин – «салага». Кто будет относиться к нему иначе, накажем точно так же... Ясно!

– Отваливай! – с холодным удовлетворением глядя мне в глаза, скомандовал Зуб. – Тебе здесь больше делать нечего. Здесь «старики» гуляют!

Я встал. Титаренко смотрел в сторону. Цыпленок ерзал от страстного желания помчаться вниз и сообщить однопризывникам потрясающую новость. Чернецкий выложил из серых хлебных комочков цифру «100».

– Ну, так чью койку мне завтра заправлять? – спокойно спросил я членов высокого суда. Никто не ответил.

Я слышу испуганное «идите сюда!» и, путаясь ногами в мокрой траве, бросаюсь на голос. Возле подпрыгивающего на одном месте Цыпленок стоит запыхавшийся Титаренко. Следом за мной подбегает Чернецкий, он застывает рядом, и я щекой чувствую его прерывистое дыхание. Наконец, тяжело сопя, подваливает Зуб.

– Во-он валяется! – поясняет Цыпленок, тыча пальцем.

Мы всматриваемся: Елин лежит во рву, скорчившись калачиком и уткнувшись лицом в землю, на месте головы зияет густая тень, отбрасываемая разлапистым кустом. При свете луны виднеется спичка, забившаяся в рифленую подошву сапога, из-за голенища белеет уголок портянки.

– Иди к нему! Иди, тебе говорят! – Титаренко с силой выталкивает Зуба вперед, но тот, заслоня рукой лицо, отскакивает в сторону, а потом его сопение раздается уже за нашими спинами. Никто не решается приблизиться к Елину, точно и не его мы искали всю ночь. Шарипов печально цокает языком.

...Однажды я ехал в метро, и вдруг посреди подземного перегона поезд затормозил и остановился. Приноровившиеся к дорожному грохоту, пассажиры еще некоторое время продолжали говорить в полный голос, будто старались перекрычать внезапную тишину. Потом все разом замолчали и принялись тревожно перешептываться. Минут через пять поезд тихонько тронулся и ехал очень медленно, мы буквально выползли из темного тоннеля на свет. Во всю платформу, обступая что-то лежащее на полу, теснились люди, сквозь толпу продавливались санитары с носилками. «Человек на рельсы упал!» – догадался кто-то из пассажиров, и несколько любопытных, выскочив из вагона, присоединились к толпе. Мне нужно было выходить на той станции, но я прижался спиной к стеклу с надписью «Не прислоняться» и успокоился лишь тогда, когда поезд снова въехал в гулкую темноту тоннеля...

К Елину неуверенным шагом приближается... нет – крадется Цыпленок. Сердце, словно чугунное ядро, тяжело раскачивается в моей груди. Кажется, еще минута, и оно, с треском проломив ребра, вырвется наружу. Валера Чернецкий больно сжимает пальцами мой локоть. Зуб уже не сопит, а стонет. Подбегает комбат. Фуражку он где-то потерял.

– Спит? – шепотом спрашивает Уваров и вытирает пот.

– Как мертвый, – отвечает Шарипов.

Цыпленок медленно опускается перед Елиным на колени...

\* \* \*

Воротившись из каптерки в казарму, я тихонько разделся, сложил на табурете обмундирование и полез на свой верхний, «салажный» ярус. Глаза у меня слипались, рот раздирала мучительная зевота, но уснуть я не мог. Казалось, вот сейчас перевернусь на правый бок и отключусь, но ни на правом боку, ни на левом, ни на спине и никак по-другому забыться не удавалось: перед глазами стояла торжествующая рожа Зуба.

«Подумаешь, трагедия! – успокаивал я себя. – Трибунал для бедных... И не такое случилось! Завтра на свежую голову разберемся».

А что, собственно, со мной случилось в жизни? Да почти ничего.

Впрочем, именно в армии я впервые попал в настоящую переделку. Во время апрельских учений мы несколько раз меняли расположение лагеря, и однажды какой-то идиот второпях сунул в машину со снарядами «буржуйку», из которой не были выброшены раскаленные угли. Мы уже разбивали палатку на новом месте, когда Шарипов застыл с колышком в руке и проговорил:

– Ну сейчас шибанет!

Из-под брезента, закрывавшего кузов, валил густой дым, изнутри светящийся огнем. Не помню, кто бросился первым, но на несколько секунд нас опередил комбат, он-то со страшной руганью и выбросил печку из кузова, а мы лихорадочно тушили занявшиеся, в струпьях обгорелой краски, ящики, стараясь не думать о том, что в любое мгновение можем превратиться в пар. Страх пришел потом, когда, закурив трясущимися руками и путая слова, мы наперебой описывали друг другу случившееся, как дети пересказывают содержание только что увиденного фильма. А перепачканный пеплом Уваров сидел на траве, тряс головой и повторял, точно заевшая пластинка: «Ну, чепешники, мать вашу так! Ну, в/ч ЧП...»

Да-а, еще минута – и было бы ЧП на весь округ, а в газете «Отвага» появился бы большой очерк капитана Деревлева под названием «Сильнее смерти и огня», где наши героические, овеянные пороховым дымом силуэты решительно заслонили бы нелепые, разгильдяйские причины чрезвычайного происшествия. Возможно, и Лена со временем узнала бы, что ее несостоявшийся спутник жизни погиб, спасая боеприпасы от разбушевавшейся стихии.

Но ничего этого не произошло, и мы – Титаренко, Шарипов, Чернецкий, Зуб и я – стояли, бессильно обнявшись, нервно смеясь и ощущая себя братьями... Интересно, откажутся они завтра от своего приговора или нет?

И мне приснился сон, но какой-то странный, вывернутый наизнанку: не я убываю на гражданку, а все мои домашние – мама, отец, Лена – приезжают к нам в часть с чемоданами, в дембельской форме, а у Лены на груди даже медаль. Зуб рассказывает моим родителям что-то очень хорошее про Елина. Я подхожу к Лене и спрашиваю:

– Разве за это дают медали, Лена?

– Лешенька, ты что, меня не узнал?! – удивляется она. – Это же я, Таня. Только ты не волнуйся, глупенький, главное – ты уже дома...

Но в это время раздаются голоса, топот, и запыхавшийся сержант Еркин с растрепанной книжкой за ремнем кричит во весь дух:

– Батарея, подъем! Тревога!

И все начинают приплясывать и грохотать сапогами об пол, а Таня сильно тормозит меня за плечо – мол, танцуй с нами!

Я открываю глаза и вижу старшину Высовеня.

– Трибунал проспидь! – сурово острит прапорщик.

### 13

*Цыпленок медленно опускается перед Елиным на колени и осторожно, точно боясь испачкаться в чем-то, склоняется. Прислушивается. Я не выдерживаю и отворачиваюсь.*

*В небе, словно надраенная до блеска дембельская пряжка, сияет луна.*

## ЧП районного масштаба

### 1

На дне, между камнями, застыл пучеглазый морской ерш. Он и сам был похож на вытянутый, покрытый щетиной водорослей камень. Бурая подводная трава моталась в такт прокачиваемым на поверхности волнам и открывала пасущихся в чаще разноцветных рыбок. А еще выше – там, где по мнению придонных жителей, находилось небо, – пронеслись эскадрильи серебристых мальков. И совсем высоко-высоко, на грани двух миров, ослепительное золото омывало синие тени медуз. Но на солнце даже из-под воды смотреть было невозможно.

Человек в маске и ластах зажмурился, потому что после взгляда вверх дно показалось темно-зеленым шевелящимся пятном. Потом, одной рукой крепче ухватившись за жесткие стебли водорослей и чуть-чуть выдвинувшись над скалой, он стал медленно подводить накопчик гарпуна к окаменевшему ершу. Чтобы выстрелить наверняка, острие нужно приблизить почти вплотную (очевидно, завод, где изготавливаются подводные ружья, – коллективный член Общества охраны природы).

Но в тот момент, когда, дернувшись в руке, ружье метнуло гарпун, ерш с реактивной скоростью рванулся с места и, оставляя за собой мутный след, исчез в расщелине. Гарпун, звякнув, отскочил от камня, и белый капроновый шнур, медленно изгибаясь, начал опускаться на дно.

Из дыхательной трубки с бульканьем взвились крупные пузыри: охотник выругался. Запас воздуха в легких кончался, но прежде чем всплывать, человек обвел вокруг взглядом, запоминая место, где укрылся ерш, и вдруг снова вцепился в водоросли: на краю расщелины сидел здоровенный краб, похожий на инопланетный шагающий вездеход. Черными глянцевыми клешнями-манипуляторами он подносил что-то к шевелящемуся рту.

Сдерживая подступивший к горлу вздох, ныряльщик изо всех сил сжал зубами резиновый загубник трубки. Десять лет он занимался подводной охотой, но такого громадного черноморского краба не видел, кажется, ни разу! Только бы не потерять скалу! Наверху – волны, пока отдышишься, может отнести в сторону. Обманывая задыхающуюся плоть, охотник делал частые глотательные движения, но это уже не помогало.

Все! Сильно оттолкнувшись от скалы, вытянувшись в струну и до судороги в икрах работая ластами, он понесся вверх, к воздуху. Выскочив из воды по пояс, человек выплюнул загубник и несколько раз глубоко, до боли в легких, вдохнул. Перед глазами, застилая жаркое синее небо,плыли фиолетовые пятна, а к вискам приливал пугающая слабость. Постепенно взгляд прояснился, неуверенность исчезла, но дыхания все же не хватало, а сердце колотилось неестественно быстро и гулко.

Чтобы успокоиться, человек осмотрелся: метрах в двухстах от него виднелся пустынный каменистый берег, три парня волокли выброшенную морем корягу, а далеко справа горбилась гора Ежик, из зеленых колючек которой поднималась белая башня пансионата. У подножия Ежика, между волнорезами, был большой пляж. Чем дальше от берега, тем ярче и драгоценнее становился цвет моря. Возле оранжевых буйков, болтая в воздухе ластами, охотились за разноцветными камешками и мелкими рапанами бесстрашные ныряльщики. Еще дальше, покачиваясь на пестрых надувных матрацах и чувствуя себя, наверное, в открытом море, несколько смельчаков получали солнечные ожоги. Через равные промежутки времени усиленный мегафоном хриплый мужской голос с южным акцентом настойчиво звал их вернуться к берегу. А на горизонте, где, как двояковыпуклая линза, смыкались море и небо, виднелся силуэт теплохода.

Человек глубоко вздохнул, поправил маску, вставил в рот загубник и, погрузив лицо в воду, сразу отыскал знакомые очертания скалы. Так, распластавшись на волнах, он старался отдышаться, при этом не упуская из виду найденное место. Это надо же! Весь отпуск проплавать там, где подводная мелочь вспоминает о ершах и крабах, как мы о мамонтах, и вот за три дня до отъезда напасть на такой заповедник! Черт с ним, с ершом, но краб-то, краб! Боевая клешня чуть не с ладонь, если упустишь – никто не поверит. Надо попытаться схватить рукой, а если не получится – выстрелить, хоть и жалко портить панцирь.

Подумав об этом, охотник упер рукоять пневматического ружья в живот и с натугой вдавил гарпун в дуло, потом втянул через трубку воздух, сложился пополам и, вскинув над поверхностью длинные черные ласты, ввинтился в воду.

Краб сидел на том же месте. Осторожно приблизившись, человек медленно и незаметно подвел к нему сзади руку и резко махнул ружьем перед черными стебельками крабьих глаз. Стебельки тут же нырнули в глазницы, а сам краб, словно неопытный вратарь перед прорвавшимся форвардом, широко распахнул объятия, но тут же был крепко схвачен между растопыренными и потому безопасными клешнями. Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, как, быстро перебирая суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такой же громадный – или даже поболее – крабище. Закусив загубник и выбросив вперед руку с ружьем, человек извернулся за ним, выстрелил и проломил насквозь толстенный панцирь, потом за шнур подтянул к себе гарпун: краб сучил когтистыми ногами, а клешнями пытался перегрызть стальной прут. Из пробоины клубилось бурое облачко крови.

«Это уже я зря...» – хотел подумать охотник, но в голове что-то скрипнуло, рот наполнился соленой водой, а тело сделалось до дурноты легким и беспомощным. Через мгновение, выброшенный на поверхность, он увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать...

На далеком берегу маленькие люди еле слышно кричали, но еще страшней, чем недостижимость берега, была четырехметровая толща воды – теплая, светлая у поверхности и холодная, мрачная в глубине. А тем временем ум никак не мог объяснить плоти, что нужно делать. Тяжелое фиолетовое небо словно хотело вдавить человека в воду, и он, закричав, рванулся, отшвырнул все, что было в руках, и опрокинулся на спину. Сердце уже не билось, а сотрясало тело, и точно так же сотрясали сознание слова: «Нет-нет-нет-нет-нет...» Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами, точно перегорающая электрическая лампочка. Казалось, одно резкое движение – и наступит темнота.

Еле шевеля ластами, человек на спине поплыл к берегу, один раз было оглянулся, и ему почудилось: суша не только не приблизилась – даже отдалилась. Тогда снова тело свела судорога беспомощности, а душу охватил утробный ужас. Больше уже не оглядываясь, даже зажмурившись, он все плыл и плыл, чуть перебирая непослушными ногами. Когда же спина коснулась скользких прибрежных камней, он замер, потом сел по пояс в воде и наконец повернул голову.

Прямо перед ним, суетясь на скрипучей гальке, двое парней пристраивали над огнем котелок. Третий, вскрывавший консервные банки, с любопытством уставился на подплывшего и улыбнулся:

– Ты, земляк, извини! Мы из твоих брюк сигареты взяли, а то тебя нет и нет. Петька уж смеялся: «Бери, мол! Он... то есть ты... теперь не куришь, потому как утоп...»

И парни жизнерадостно заржали над своей шуткой.

Человек ничком лежал на раскаленных камнях и пытался понять случившееся. Но, перебивая все остальное, словно громкая соседская музыка, в голове пульсировало: «Нет-нет-нет-нет-нет!» Выключить эти слова было нельзя – можно лишь отодвинуть в глубь сознания. Человек повернулся на спину, и на сомкнутые веки легла алая пелена полуденного солнца.

Оказывается, все очень просто. Не сумеет он справиться с оцепенением – моря, неба, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу, – ничего этого уже не было бы никогда. Как это? Наверное, как в армии, когда громким криком вызывали из темного кинозала заступающих в наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь догадываться.

Интересно: а быстро бы его нашли? В пансионате скоро не хватятся, наверное, только к ужину или даже к завтраку. Скорее всего, первыми сообразят эти любители чужих сигарет: действительно, одежда давно лежит, а хозяин пропал... Дальше – загорелые джинсовые мальчишки со спасательной станции, ненадолго оставив разомлевших от солнца и курортного обхождения девиц, прыгнут в лодку и сразу отыщут в прозрачной воде отдыхающего, который, говоря словами инструктора по плаванию, вздумал «шутить с морем»... Затем апатичные курортные врачи привычно повозятся с посиневшим телом, а спасатели, стараясь разогнать разбухающую толпу любопытных, примутся кричать: «Отойдите! Воздух... Ему нужен воздух!» Но люди будут все прибывать и прибывать, вставая на цыпочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть... Потом «скорая помощь», уже без сирены, увезет утонувшего, но обитатели пляжа, вывернув к солнцу труднозагораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившееся:

- Это тот высокий шатен из Москвы. У него еще подводное ружье было. Донырялся...
- Говорят, жена и дочка маленькая в Москве остались. Еще ничего не знают!
- Ужас! Тоже моду взяли – поодиночке отдыхать... С ними приехал бы, может, и ничего!
- Начальство всегда поодиночке отдыхает. Он ведь хоть молодой, а начальством работал.

Говорят, секретарь райкома!

- Партии?
- Нет, комсомола, но все равно!
- А какого района?
- Говорят, Красно... Красно... Краснопролетарского. Есть у вас такой?
- Господи, это же наш район! Ой, надо мужу рассказать – он из райкома их всех знает!

А фамилия как?

- Мишулин или... Шумилин, кажется...

Потом? Потом какие-нибудь формальности, связанные со смертью человека, затем обратная дорога, как в том бунинском рассказе, – и ты единственный пассажир, которому наплевать на крушения и катастрофы... Затем – некролог в «Комсомольце» и похороны. Траурный митинг (наверное, в клубе автохозяйства), грустное многословие, навевающее мысли о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация. Духовой оркестр с печально ухажущим большим барабаном. Венки от организаций и частных лиц. Удары молотка – и всегда ощущение, будто могут поранить лежащего внутри. Потом стучащие о крышку комья земли... Первые горсти бросят одетые в черное мама и жена. Интересно, как поведет себя Галя, ведь формально они еще не разведены. Разумеется, будет держаться, словно ничего у них не случилось, а слушая прощальные речи, удивится, почему не ужилась с таким прекрасным мужем! Лизке же Галя скажет, что папа уехал далеко-далеко и вернется, когда дочь вырастет. «А что он привезет?» – спросит Лизка...

Шумилин почувствовал, как закипают на солнце выступившие слезы. Ладно – хватит! По техническим причинам похороны переносятся на неопределенный срок. Нужно достать ружье и бежать на обед.

Он быстро нацепил маску и ласты, вставил в рот трубку, пятясь, вошел в воду, опрокинулся и отплыл на спине несколько метров, потом перевернулся лицом вниз. Пронизанный зелеными лучами подводный мир снова обступил его: колыхались водоросли, яркая, синеперая зеленуха металась между камнями, перебирала ножками прозрачная, словно стеклянная, креветочка.

«Опыт спасения утопающих у меня уже есть, – пошутил сам с собой Шумилин. – Главное, чтобы снова не оцепенели ноги...» Но едва только мелькнула эта мысль, как в теле появилось знакомое чувство беспомощности и пульсирующий страх, а в сердце со страшной быстротой заколотились слова: «Нет-нет-нет-нет-нет...» Беспорядочно лупя ластами, он вернулся на сушу, выкурил, чтобы успокоиться, несколько сигарет, побродил вдоль берега и дрожащей рукой пустил по воде вприпрыжку десяток плоских камней. Тридцать лет ему казалось, что его тело, его сознание как будто вплавлены в этот бесконечный кусок янтаря под названием «мир», а получается, с жизнью тебя связывает лишь тоненький, звонко натянутый волосок. И что самое печальное: тело – всего лишь капризная оболочка, ненадежное вместилище души. Конечно, все это было известно и раньше, но одно дело – знать, а совсем другое – почувствовать...

К пансионату вела кипарисовая аллея, упиравшаяся прямо в двери прозрачного, как аквариум, пищеблока. Сегодня кипарисы пахли борщом.

Обеденное время давно кончилось, поэтому в столовой уже никого не было, кроме хмурых официанток, носивших на мойку грязную посуду и вытиравших столы. Шумилин принялся хлебать холодный, как свекольник, борщ, жевать затвердевшие котлеты, вспоминая прошлый сезон, когда отдыхал здесь с женой и, занырявшись, часто опаздывал к столу. Галя обычно до конца стерегла его порции, но встречала мужа злым-презлым взглядом. Он виновато ел, а она громко недоумевала, почему должна целыми днями загорать одна и, как от мух, отбиваться от пляжных приставал. Потом обычно следовало обещание утопить к чертям все эти ласты, маски, ружья. Приходилось отшучиваться, говоря, что лучше утонуть самому, чем утопить ружье. Теперь Шумилин так не пошутил бы.

Надо сказать, Галя злилась часто: не только из-за подводной охоты и не только во время отпуска. Впрочем, ее можно понять. Реже всех видят своих мужей жены разведчиков, заброшенных в тыл врага и натурализовавшихся. На следующем месте после них – супруги комсомольских работников. И тем не менее Галя все время твердила, что ее единственная мечта – хотя бы несколько дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь в Москву. В нынешнем году торопиться некуда, только это уже не имеет никакого значения. И честно говоря, отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело.

«У человека всегда есть цель, – рассуждал Шумилин, выходя из столовой, – три недели назад не терпелось в отпуск, сейчас хочется домой».

...Наверное, ни одно желание в жизни первого секретаря Краснопролетарского РК ВЛКСМ не сбывалось так быстро: в холле спального корпуса его окликнула дежурная и протянула бланк срочной телеграммы:

#### РАЙКОМЕ ЧП ЗВОНИ КОМИССАРОВА

«Что же могло случиться?» – нервничал Шумилин, пробиваясь на междугородную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось, и Москву дали на удивление быстро.

– Алло, райком? Надя? – закричал он изо всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. – Что у вас случилось?

– Алло, Коля... Николай Петрович... алло! – ответил тревожный голос. – Коля, представляешь, какой ужас: сегодня ночью кто-то забрался в райком, в зал заседаний, и нахулиганил...

– Что значит – нахулиганил?

– Это не телефонный разговор. Ковалевский уже знает. В горкоме тоже...

– Вот так, да? А милиция?

– Милиция уже была. С собакой. Коленька, прилетай скорей, я же одна за всех. Мы слет готовили, а здесь такое! Ты же знаешь, Кононенко раньше времени забрали, я одна осталась...

– Не рыдай. Вечером вылечу, завтра буду в райкоме. Сегодня что, суббота? Вызови с утра весь аппарат. Разберемся. Пока.

Шумилин повесил трубку, потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю, тот внимательно выслушал просьбу столичного коллеги, записал паспортные данные и обещал выбить броню. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный ответственный работник.

«А пахнут они тут, как мы! – с запоздалым недоумением подумал он. – Сегодня же суббота!»

Привыкший по роду деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумилин прежде всего сбивался со счета, но какое число сегодня, все-таки сообразил: утром он видел черноволосых школьников, несущих букеты, – таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно: первого сентября Шумилин сам был бы на работе.

– Ты куда пропал?! Худеешь, что ли? – улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столу – завотделом из Вологодского обкома.

– Да ты понимаешь: какие-то идиоты ночью в райком залезли...

– Махновцы балуют!

– Я серьезно. Надо лететь... Так что будешь в Москве – заглядывай к нам в Краснопролетарский. Только не спутай: есть еще Краснопресненский и Пролетарский. Бывает, ошибаются.

– Не спутаю... Дак я думал, ты смеешься... Это ж на весь город ЧП!

– Вот так, да? Ты мне объясняешь?

– Дак я думал... Может, тебе помочь собраться?

– Спасибо – я успею.

– Ну тогда счастливо! Ты, старик, держись: может, все обойдется...

И наверное, оттого, как помрачнело и напряглось лицо этого в общем-то малознакомого парня, с краснопролетарского руководителя окончательно слетело курортное благодушие.

Поднявшись в номер, Шумилин вытащил из-под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться – по-мужски все комкая и кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора с женой.

Год назад, вот точно так же после разговора с Москвой, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене: накануне они объяснялись по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему:

– Я тоже думаю – нам пора развестись...

– Не говори ерунды! Я звонил в райком: Кононенко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больнице с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься?

– На слет?

– Да.

– Неужели без тебя не обойдутся?

– Ты же знаешь, что нет!

– Ну конечно, во всем – первый!

– Мне не смешно.

– И мне не смешно. Только знаешь, Коля, – подозрительно ласково заговорила она, переворачиваясь на спину и глядя в потолок, – отстань ты от моей жизни! Ну тебя к черту с твоими постоянными авралами и ЧП. Ты мне иногда напоминаешь чайник из учебника: кипишь не потому, что горячий, а потому, что высоко подняли. Оттого что ты Первого мая на трибуне стоишь, мне жить не слаще. А если ты такой большой деятель – живи на трибуне! Зачем тебе семья, ребенок? Я хочу нормального мужика, который в семь часов дома, умеет гвоздь вбить, может ребенком заняться...

– Такой муж, какого ты хочешь, не существует как вид. И потом с мужем, вбивающим гвозди, ты бы сейчас не в санатории ЦК...

– Мне от тебя ничего не надо!

– Ну, в конце концов, ты знала, за кого замуж выходишь!

– Я выходила за студента, а получила мальчика на побегушках... Только не изображай из себя стоп-кадр, давай беги, а то без тебя весь райком развалится и твоя карьера вместе с ним!

– Галя!

– Я двадцать восемь лет Галя – и из них семь лет дура, потому что с тобой связалась, но теперь хватит...

– Замолчи!

– Я сказала: хватит!

– Только не передумай, пожалуйста!

– Это я тебе обещаю!

– Вот так, да?

– Да!

– Ну и отлично! – закрыл прения Шумилин и, надавив коленом на крышку чемодана, стал запикивать под нее торчавшие во все стороны шмотки.

Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами в результате, как тогда казалось, нестерпимой любви, но жили плохо. А все несчастные семьи, вопреки утверждению классика, похожи друг на друга. И еще одна странность: чем решительнее Шумилин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения. Сам для себя он объяснял это так: жены ответственных работников – куда большие карьеристы, чем их мужья, расплачивающиеся за продвижение по службе каждодневной нервозностью, постоянной круговертью, невозможностью даже дома отключиться от дела. Женам же выпадает непростая, но приятная и, к сожалению, односторонняя обязанность – соответствовать очередному положению своего спутника жизни. Они где-то слышали, что мужчину на девяносто процентов делает женщина, и всеми силами стремятся к стопроцентным показателям. Мало того, они хотят, чтобы их незаурядные и ответственные супруги, вернувшись с работы, превращались в обыкновенных домашних мужчин, готовых к активному внутрисемейному труду. Моральные и физические силы мужа вступают в противоречие с семейными отношениями – и наступает разводная ситуация. И однажды, наскоро собрав чемодан, мужчина решительно направляется к двери и лишь на пороге, не повернув головы, констатирует:

– Я пошел.

– Пока, – уткнувшись в подушку, отвечает женщина...

В прошлом году Шумилин улетел один, потом они, конечно, помирились, затем снова поссорились... Месяцев пять-шесть их брак пребывал в неустойчивом равновесии, наконец они разъехались, но на развод пока не подавали: то ли на что-то надеясь, то ли просто откладывая неприятную процедуру. К счастью, свобода не обернулась для Шумилина необходимо-

стью решать жилищную проблему: он вернулся к матери, к себе в комнату, и даже частично перевез свою, как в старину говаривали, со вкусом – а значит, с большим трудом – подобранную библиотеку. Одним словом, они разошлись интеллигентно, и расставание их обещало впереди если не встречу, то, во всяком случае, нормальные отношения чужих людей, у которых из общего осталось только одно, зато самое главное – ребенок...

В аэропорту все произошло как обычно, по-комсомольски: здесь слыхом не слыхивали о брони для секретаря райкома из Москвы. Вспомнив прошлогодний опыт, краснопролетарский руководитель больше часа метался между начальником аэровокзала, дежурным по транзиту и кассой брони, совал красное удостоверение, безнадежно звонил в горком. В конце концов он опустился на скамью для ожидающих, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать.

«И в воде не тону, и в воздухе не летаю!» – хотел было сам с собой пошутить Шумилин, но сразу же вспомнил сегодняшний случай в море, о котором не давали забыть какая-то смутная тревога и появившееся недоверие к собственному телу. И к тому же неотвязно крутились мысли про хулиганов, залезших в зал заседаний.

Надо же умудриться за один день чуть не утонуть и получить известие, что в своем родном райкоме – ЧП! Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь Комиссарова отбивает телеграмму и умоляет скорее прилететь. И что значит – «нетелефонный» разговор? Может быть, хулиганы в финхозсектор забрались или картотеку попортили? Нет, Комиссарова только про зал заседаний говорила. А что бы она, интересно знать, стала делать, если бы первый секретарь взял да и утонул?

Но следом за несерьезной даже мыслью о происшедшем появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину.

Кстати, о женщинах. С Галей нужно было развестись еще до рождения Лизки, не зря все-таки они так долго тянули с ребенком. Но легко расходиться со стервами, тут все понятно: она дрянь – и от нее нужно бежать. А что прикажете делать с приличной, семейной женщиной, которая просто тебе не подходит? Почему? Потому что не подходишь ей ты. Но ведь восемь лет назад они удивительно подходили друг другу. Вот в чем штука! Главное – пусть даже не совпадать в самом начале, а потом изменяться в одну сторону. Тогда и у разных людей появляется общее, а не наоборот! Нужно будет по возвращении переговорить в обществе «Знание» и организовать для молодежи беседы о браке и семейной психологии, пригласить лектора, но не трепача какого-нибудь, а специалиста. Может, разводов в районе станет поменьше. Кстати, о разводе. Где-то написано, что при разрыве, как правило, женщина уходит к другому, а мужчина в никуда. Возможно... Но жизнь, как говорится, еще не кончена в тридцать лет, вот только надо разобраться с хулиганами да провести слет! Развод, конечно, объективку не украсит, но, слава богу, в последнее время стали понимать, что работоспособность и душевное равновесие функционера (почему некоторым не нравится это слово?) гораздо важнее лишних штампов в паспорте и несложных финансовых операций по отчислению алиментов. Да и Лизка будет только крепче любить отца, а то она уже было начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то!

Честно говоря, Шумилин сосредоточился на своих житейских проблемах еще и затем, чтобы не думать о происшествии в райкоме (действительно, махновцы какие-то!). У него был принцип, выработанный многолетним опытом: не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержат. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаяния, а все оказывалось не так страшно! Бывало, правда, и наоборот. Так что сейчас самое главное – улететь и разобраться на месте, тогда станут ясны и подробности, и причины, и последствия.

Уткнувшись в чемодан, он забылся той странной дремотой, когда снится, будто не можешь заснуть. Разбудил его трубный голос, разнесшийся по всему залу ожидания: «Товарища Шумилина из Москвы просят пройти к дежурному по аэровокзалу».

Непонятно: или отыскалась запись о его брони, утерянная при передаче смены, или опамтававшийся после первосентябрьской круговерти местный секретарь все же позвонил сюда, или же весть о ЧП в Краснопролетарском районе столицы достигла Черноморского побережья, но в результате через несколько минут он держал билет на самолет, вылетающий в 01.40. Однако рейс отложили, и только около пяти часов утра Шумилин поднялся по трапу Ту-154, вдохнув последний раз теплый и влажный, как в предбаннике, южный воздух. Кругом еще стояла густая кавказская ночь, а над головой чернело небо, усеянное стеклянным крошевом звезд.

### 3

В иллюминатор было видно, как подозрительно вибрирует заиндевевшее крыло самолета. Между креслами, разнося газеты и воду, с профессиональной грацией двигалась стюардесса, а за ней, словно запоздавшая звуковая волна, накатывался парфюмерный запах.

Во время полета можно многое: спать, есть, читать, думать о жизни... Шумилин размышлял. О ЧП в райкоме, следуя своему принципу, он усиленно старался не вспоминать, а перебирал мелочи, случившиеся с ним за последнее время, – курортные встречи и знакомства; хорошие книги, купленные перед отпуском и оставшиеся непрочитанными; нового участкового врача – симпатичную молодую женщину по имени Таня, с которой умудрился завести роман. Вспомнил про красные, большие и как бы отлакированные яблоки, впопыхах купленные для дочери по пути в аэропорт... Кстати, собираясь отдохнуть, он заезжал проведать Лизку и неожиданно заговорил с Галей о разводе, а та в ответ насмешливо удивлялась, что это ему так не терпится испортить себе карьеру и вернуться к прежней специальности. Галя работала учителем физики и не без оснований считала: держать в повиновении какой-нибудь сорокогорлый 9-й «Г» не легче, чем руководить многотысячным районным комсомолом. Но признавала она и другое: человека, поработавшего первым секретарем райкома и возвратившегося к прежней профессии, можно как редкость выставить в музее, только вот посетители все равно будут принимать его за муляж.

Хотя... всякое, конечно, может произойти, и готовым нужно быть ко всему, особенно после случившегося. По правде говоря, в последние годы судьба Шумилина складывалась так, что вопрос «кем быть?» за него в основном решали другие. До сегодняшнего дня решали поступательно... И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая в воображении зловещие подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации.

Внесем ясность.

Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе и после армии пошел на истфак пединститута только потому, что хотел быть историком. Но ничего не подделаешь: склонность к общественной деятельности Шумилин впитал буквально с молоком матери. Она вечно после смены пропадала на заводе, то готовя очередное собрание, то организуя митинг, то репетируя концерт художественной самодеятельности, на котором сама обязательно выступала со стихами Маяковского или Щипачева. Жили они тогда в заводском общежитии, отец мотался по командировкам – и очень часто Колю кормили ужином и укладывали спать соседи. Нынче таких соседей уже нет, они остались там, в общежитиях и коммунальных квартирах пятидесятых-шестидесятых годов.

С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже твердой четверки. А в школе и товарищи, и учителя всегда знали: если подго-

товка сбора или КВН поручена Шумилину, можно не волноваться и не контролировать. Но унаследовав от матери общественный темперамент, сын, в отличие от нее, командовать не любил: сознание, что от него зависят другие, наполняло Колю не торжеством и самоуважением, а заботой и беспокойством. Короче, в лидеры он не рвался, и это решило его судьбу: он последовательно избирался председателем совета отряда, комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив диплом и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем комсомольской организации педагогического института. Впрочем, нет: сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили в аспирантуре.

В педагогический Шумилин поступал из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой – и не теорией, которую, надо сказать, читали чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал неременным участником педагогического отряда, шефствовавшего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе, уже почувствовав себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шефство – выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Саленкова, который в свои четырнадцать лет был хорошо известен инспекции по делам несовершеннолетних, школой квалифицировался как трудный подросток, а семьей – как «раздолбай». Матери своего подшефного Шумилин почти не видел. Судя по обрывкам разговоров, она занималась коммерцией: записывалась в различные списки, стояла в очередях за дефицитом и окончательно запуталась в цепи «товар – деньги – товар»... Саленков-старший, пивший все, что горит, открывая дверь замусоренной квартиры настойчивому студенту, обычно со слезой приговаривал: мол, меня не смогли – хоть сына вытащите. Но с Генкой, к сожалению, тоже ничего не получилось: его отправили в колонию.

Зато другого парня, Андрея Неушева, Шумилин все-таки «вытащил», помог поступить в сильное ПТУ, потом определил на завод в хорошую комсомольско-молодежную бригаду и, уже будучи первым секретарем, вручал ему знак «Молодой гвардеец пятилетки». Сейчас, с запозданием, Неушев служил в армии (ему долго давали отсрочку из-за больной матери) и присылал своему наставнику письма, правда, не такие бодрые, как те, что передают в «Полевой почте» радиостанции «Юность».

На последнем курсе Шумилин стал заместителем секретаря институтского комитета ВЛКСМ и снискал известность тем, что на отчетно-выборной конференции бросил призыв: «Педагогический для педагогов!» Если кто-нибудь думает, будто пединституты готовят исключительно учителей, он глубоко ошибается. Курс, на котором учился будущий краснопротарский руководитель, дал стране поэта и инспектора ОБХСС, радиодиктора и чемпиона республики по дельтапланеризму, библиотекарей, редакторов, экскурсоводов, журналистов, офицеров, домашних хозяек... Были, правда, и учителя, они любили свою профессию, но всякий разговор начинали и заканчивали тем, что с нынешними детьми, в нынешней школе, по нынешней программе работать невозможно. И работали.

Став секретарем, Шумилин первым делом взялся за собеседования – их проводили с абитуриентами члены комитета. Еще до экзаменов, считал он, необходимо выяснить – не по характеристикам и рекомендациям! – кому из поступающих нужна педагогика, кому – просто диплом. А после успешных экзаменов необходимо, чтобы будущие учителя на практике постигали свой педагогический «сопромат», узнавали, каким бывает благодарным и как умеет сопротивляться самый непонятный – человеческий – материал. Еще лет десять назад в моде была ироническая фраза: «Дети – цветы жизни». А еще раньше эти слова говорили без иронии, совершенно серьезно, ведь дети – действительно цветы жизни, ибо в дальнейшем будут плоды. Но по тому, как ярко, густо и душно цветет сад, можно предугадать урожай. Сад, цветущий вокруг нас, как говорится, заставляет призадуматься о завтрашнем урожае. Всерьез думал об этом и Шумилин. Конечно, в институте оставалось достаточно студентов, знавших, что такое воспитание и обучение, только по конспектам своих аккуратных однокурсников, и конечно,

не следует преувеличивать роль личности Шумилина в истории советской педагогики, но он работал, а это уже немало!

Тогда будущий первый секретарь еще не думал о профессиональной комсомольской работе – утвердил тему диссертации по новым формам нравственного воспитания и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно к хорошеньким студенткам, доцентом. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб: Шумилину предложили место в горьком комсомола. Пришло время определяться: с кем ты, деятель науки? Он много советовался. Отец, который тогда еще был жив, ответил в своем духе:

– Раз уж ты пошел в мать, все равно этим будешь заниматься, только на общественных началах. Тогда лучше за деньги...

Людмила Константиновна, разумеется, была «за», Галя воздержалась, она уже поняла: быть одновременно комсомольским руководителем и главой семьи непросто. В конце концов он согласился, и дальнейшая его жизнь потекла по узким извилистым коридорам горькома.

Энергичный, но сдержанный, инициативный, но знающий, даже внешне Шумилин подходил для роли комсомольского вожака: высокий рост, улыбочивое лицо с серьезными глазами, модная, но аккуратная стрижка, строгий, хорошо сидящий костюм... У него была слегка неправильная речь, и хотя логопеды в свое время потрудились, в некоторых словах он неуловимо смягчал твердый «л». Но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему: во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны как теледиктор, настораживает. Правда, новому замзаву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями, а тем более живым делом. Потом в декретный отпуск ушла заведующая отделом – он стал исполнять ее обязанности, и это тоже не способствовало занятиям теорией. Проводя же различные общегородские мероприятия, он заметил: семинары, слеты, совещания, конференции, которые по идее организуются для выработки общей линии в работе, часто превращаются в самоцель. И организаторов уже гораздо больше тревожит неудачно составленный список докладчиков, чем тот факт, что от перемены мест выступающих жизнь не изменяется. Шумилин такого отношения к делу не принимал, а добросовестный труд, как известно, дает человеку все, кроме свободного времени, – и поэтому энергично начатая диссертация постепенно стала походить на утраченную большую любовь: возврата к былому нет, но память не умирает!

В горьком нового замзава ценили, ведь чужая трудоспособность, даже раздражая, все равно вызывает уважение. А вскоре в Краснопролетарском районе, где Николая еще помнили по пединституту, освободилось место первого секретаря РК ВЛКСМ – прежний перешел на профсоюзную работу. Кандидатура Шумилина прошла на ура. Будем откровенны: тут он уже не раздумывал и не советовался.

Отгремели поздравления, примелькался большой кабинет, стала привычной служебная машина у подъезда, приелось значительное слово «первый» со всеми вытекающими из него приятными последствиями, и началась тяжелая, изматывающая работа с постоянным недовыполнением чего-то, с криком, с нагоняями, с ноющими болями в левой стороне груди, редкими субботами и воскресеньями, проведенными дома. Руководитель районного комсомола себе не принадлежал, он принадлежал народу. А все-таки Шумилин был доволен, и что еще важнее, вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах: первый секретарь одного из центральных столичных райкомов – это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани, да и люди, работавшие рядом, росли, уходили выше, подавая достойный пример. Конечно, Шумилин был осмотрителен и, начиная новое дело, всегда просчитывал, как на это посмотрят сверху, но никогда и ничего не делал *только* ради благосклонного взгляда начальства. Однажды дошло до крупных неприятностей. Кто-то сгенерировал идею направить ударный отряд краснопролетарской молодежи на стройки Тульской области, той самой, из которой по лимиту набирали ребят

на предприятия района. Ситуация анекдотическая, но можно было молча выполнить распоряжение, а потом с пользой отрапортовать. Первый секретарь сказал «нет!», нажил недоброжелателей, потратил столько энергии, что ее хватило бы для вывода на орбиту небольшого искусственного спутника, но правоту свою доказал. Кипы зеленой стройотрядовской формы, прикрытые кумачовыми лозунгами, еще долго загромождали финхозсектор.

Но форма все-таки пригодилась. Дело обстояло так: в Краснопролетарском районе был детский дом, и комсомол, конечно, шефствовал над ним – организовывал подарки к дням рождения воспитанников, книжки для детдомовской библиотеки, концерты агитбригад. Шумилин тоже часто заезжал туда и, честно говоря, всякий раз возвращался расстроенный. У этих оставшихся без родителей ребят, очень не похожих друг на друга, была одна общая черта: на каждого нового человека они смотрели такими глазами, словно ждали, что вот именно сейчас им скажут: «Здравствуй! Ты меня не узнаешь? Я же твой папа...»

Еще до прихода Шумилина в район началось строительство нового, загородного здания детского дома. Задумано было великолепно: лес, река, подсобное хозяйство – и всего пятьдесят километров от Москвы. Но стройтресту эти полсотни верст оказались не под силу. Мы отлично можем управлять беспилотной ракетой, летящей к какому-нибудь Меркурию или Сатурну, а вот наладить руководство бригадами, работающими на загородном объекте, трест так и не сумел – и стройка растянулась на несколько лет. Тем более что совсем рядом возводился дачный поселок, а там тоже требовались стройматериалы и рабочая сила.

И тогда на бюро РК ВЛКСМ пришел директор детского дома. В тот день заседание длилось долго, а через неделю загородный объект был объявлен ударной районной комсомольской стройкой. По строгому графику каждая первичная организация еженедельно выделяла бойцов на строительство. Вот тогда-то району и пригодилась стройотрядовская форма, а Шумилину – крепкая нервная система. Малейшее недовыполнение плана по «человеко-часам» прямиком вело на ковер к краснопролетарскому руководителю. Но так или иначе, 31 декабря нынешнего года планировалось торжественное вручение ключей новоселам. А первый секретарь постепенно приходил к выводу: не будь у нас праздничных дат – и стройки не заканчивались бы никогда!

Став во главе райкома, Шумилин не в ущерб другим направлениям гнул свою, воспитательную линию. Под его твердой рукой всю развернулся пединститут. Немало трудных подростков вместо драк и угона автомобилей расходовали избыточную энергию в секциях борьбы и бокса, созданных при участии райкома, или в военно-спортивных лагерях осваивали навыки военной подготовки. Неплохие результаты давали комсомольско-молодежные бригады. Требовательный мужской коллектив – это тебе не издерганный, разрывающийся между программой и дисциплиной классный руководитель. Очень хорошо себя зарекомендовали... Но во-первых, автор уже сбился на стиль отчетного доклада, а во-вторых, если углубляться в то, что смогла, а тем более чего не успела совершить краснопролетарская комсомолка под водительством первого секретаря, мы так и не доберемся до того события, из-за которого он срочно вылетел в Москву. И только чтобы не сложилось впечатление, будто наш герой в своем поступательном движении не знал преград, добавим: трудностей у него хватало. К тому же отдельным мнительным товарищам его энтузиазм несправедливо казался всего лишь средством обратить на себя внимание, выдвинуться. По этой причине, например, резко и прочно не сложились у него отношения со Шнурковой, тогдашним третьим секретарем. Слава богу, она вскоре ушла на повышение в райком партии, а нынешний третий Надя Комиссарова при всей своей инициативной наивности полностью разделяет стремления первого. Любому же беспристрастному человеку сразу ясно: карьеру в том смысле, о каком с жестокостью обиженной женщины говорила Галя, наш герой никогда не делал, по сути своей оставаясь тем же Колей Шумилиным, который мог вместо беготни во дворе целый вечер, высунув язык, рисовать стенгазету, заранее

радуясь тому, что завтра возле свежего номера столпятся одноклассники. А похвалит учитель – тоже хорошо.

Читатель, если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадают они только на страницах отражающей действительность художественной литературы, – можешь сразу отложить мою повесть.

– Вот так, да? – переспросил бы, услышав эти слова, Шумилин.

– Вот так!

#### 4

Когда колеса пружинисто ударились о бетон и самолет, перед этим спокойно плывший в воздухе, помчался вдоль посадочной полосы, пассажиры по-родственному переглянулись.

Из Внукова в Москву таксист гнал машину с такой скоростью, что, казалось, еще немного – и они взлетят.

Дома никого не было, но это понятно: на выходные Людмила Константиновна постоянно уезжала к своей подруге на дачу. Удивляло другое: судя по разбросанным игрушкам и детским вещам, Галя впервые после того, что случилось, сдала Лизку на хранение свекрови. Впрочем, ей тоже нужно личную жизнь устроить, а тещу и тестя, наверное, в отпуске.

Шумилин сел на диван и первым делом собрался позвонить Комиссаровой – выяснить подробности, но, уже набирая номер, вспомнил, что «разговор-то нетелефонный».

Во всем теле ощущалась знобящая ломота, а в невыспавшихся глазах – резь. Но всего неприятнее было непривычное недоверие к собственной плоти, заставлявшее тревожно прислушиваться даже к стуку сердца.

Ерунда! Ответственный работник, как артист или спортсмен, обязан властвовать собой. Душ. Густой черный кофе. Вместо легкомысленных джинсов и тенниски – строгий серый костюм и галстук. Ну вот, можно отправляться к месту происшествия и работы.

Райком комсомола помещался в особняке, уцелевшем еще от пожара 1812 года и выкрашенном нынешними знатоками старины в зеленый цвет. Перед революцией дом принадлежал известному чайному купцу. После Октября, утоляя жажду справедливости рядовых потребителей чайного листа, дом эксплуататора экспроприировали и отдали комсомольцам. А спустя шестьдесят с лишком лет Шумилин водил по райкому изнемогавшую под тяжестью бриллиантов мумифицированную красотку – дочку бывшего владельца особняка – и пояснял:

– Здесь у нас зал заседаний...

– Боже мой! – восклицала старушка нерусским голосом. – У папы тут была спальня, и в пятнадцатом году случился огромный скандал: мама застала здесь балерину Соболинскую! Вам что-нибудь говорит это имя?

– Конечно! – отвечал первый секретарь, печальясь классовой неразборчивости звезды русского балета.

Провожая гостью, он, поколебавшись, пожал протянутую как для поцелуя сморщенную ручку. Старушка выразила настойчивое желание купить на память отеческий дом, потом села в кинематографически сияющий «Мерседес» и укатила.

– Значит, спальня, – задумчиво повторил заведующий организационным отделом райкома Олег Чесноков. – То-то, я смотрю, иной раз на планерке такая чепуха в голову лезет.

На другой день Чесноков принес к себе в кабинет огромный чемодан и стал собирать вещи, а на все вопросы с горечью отвечал:

– Пришла телефонограмма. Особняк продан за двести тридцать семь тысяч долларов. По частям будет вывозиться в Бразилию.

С этой вестью к Шумилину влетела третий секретарь райкома Надя Комиссарова. Раскрыв честные голубые глаза и теребя пуговку учительского костюма, она спрашивала, что же теперь будет.

Он отсмеялся, потом вызвал Чеснокова, сказал, что ценит его остроумие и именно поэтому назначает руководителем бригады пэтэушников, отправляющихся в воскресенье на районную овощную базу.

О базе нужно сказать особо: с неумолимой регулярностью, как Минотавр, она требовала жертв – молодых парней и девушек, ведь должен же кто-то по выходным дням разгружать вагоны и сортировать корнеплоды. «Витамины все любят, а кто мешки таскать будет?» – говорил румяный, с ног до головы одетый в кожу директор овощехранилища, хотя его самого за склонность к натуральным изделиям никто по воскресеньям не гонял на кожевенные предприятия столицы. Но тем не менее бригады комсомольцев постоянно работали на базе, а время от времени Шумилин выводил потрудиться и весь аппарат райкома во главе с членами бюро – чтоб не отрывались от масс.

Вспоминая о всякой всячине, первый секретарь старался не думать о случившемся, но мысль эта, как боль, которую стараешься не замечать, сверлила и сверлила сердце. Вокруг шумела по-выходному неторопливая Москва, а он все ускорял шаг и по ступенькам райкома поднялся почти бегом.

С первого взгляда было понятно, что весь аппарат в сборе и трепетно ждет прибытия первого секретаря: вот приедет и всех рассудит. Интересно как?

Шумилин привычным движением распахнул стеклянные двери приемной. Хорошенькая, виртуозно покрашенная секретарь-машинистка оборвала электрический стрекот.

– Здравствуйте, Николай Петрович! Как вы загорели!

– Здравствуй, Аллочка, замуж еще не вышла? Это, наверное, за тобой к нам забрались.

Плотный слой пудры не выдержал, и стало видно, как покраснели Аллочкины щеки. К концу рабочего дня она обязательно сообразит, как надо было ответить веселому начальнику.

Из приемной дверь вела прямо в зал заседаний, в свою очередь соединявшийся с кабинетом первого секретаря. В зале – большой комнате с лепным потолком и рудиментарным камином – за длинным полированным столом понуро сидели Комиссарова, Чесноков и незнакомый молодой мужчина с волевым лицом и ранней, нежной лысиной. А загрустить было отчего: кругом царил разгром. Казалось, только минуту назад последний из налетчиков, пустив пулю в потолок, перемахнул через высокий мраморный подоконник. На полу валялись черепки и обломки сувениров, полученных райкомом от различных коллективов и делегаций. Какая выставка была – во всю стену! Специальные стеллажи заказывали. Одно из знамен, стоявших в углу, наполовину сорвано с древка, на столе запеклась коричневая лужа. «Кровь?!» – подумал Шумилин.

– Портвейн розовый, – перехватив взгляд, успокоил пронизательный незнакомец и отрекомендовался: – Инспектор следственного отдела РУВД капитан Мансуров... Михаил Владимирович.

– Значит, портвейн? – переспросил первый секретарь, пожимая руки капитану и своим подчиненным.

– Так точно, – подтвердил инспектор. Для себя он, видимо, решил, что перед ним хоть и комсомольское, а все-таки начальство, и говорил поэтому подчеркнуто официально, но с иронией специалиста, вынужденного объяснять элементарные вещи. – Одна бутылка под столом, вторая разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады, один кубок исчез. Возможно, украден.

– Больше ничего не украдено?

– Ваши сотрудники уверяют, что остальное цело... Точнее, на месте, не украдено.

– А что у нас красть? – усмехнулся Чесноков.

– Как что? А хрусталь – чехи подарили! – вмешалась Комиссарова.

– Подростки, как правило, не придают особого значения материальным ценностям. Ваш хрусталь они просто расколотили. – И капитан показал на усыпавшие пол осколки.

– А почему вы решили, что это – подростки? – обидчиво уточнил Шумилин, совсем недавно принимавший из рук первого секретаря горкома грамоту за хорошую организацию в районе работы с подростками.

– Потому что взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов.

– Вот именно – бессмысленных! – подхватил заворг. – Зачем лезть в райком – это же не квартира директора «комиссионки».

– А откуда, товарищ Чесноков, вы знаете, что ограблена квартира директора комиссионного магазина? – осведомился Мансуров.

– Я не знал, я к примеру сказал. А кого обчистили?! Понял: служебная тайна.

– А если это провокация?! – вдруг вскинулась Комиссарова, распахнув длинные, покрытые комками туши ресницы.

– Конечно, – серьезно подтвердил Чесноков. – Наглая попытка спровоцировать вооруженный конфликт между двумя районами столицы.

– Олег Иванович! Шутки такого рода неуместны! – оборвала третий секретарь тоном, каким объявляют выговор с занесением в карточку персонального учета.

– Провокация? Не думаю. Но этой версией тоже занимаются, – веско сказал инспектор.

– Вот так, да? Значит, вы считаете, это подростки? – снова уточнил Шумилин.

– Считаю. И не только я, – усмехнулся капитан. – Но если у вас есть сомнения, можете позвонить старшему следователю майору Ботвичу. Вот телефон. Если же вас просто интересуют подробности, товарищ первый секретарь, то объясняю: вчера по вызову здесь была оперативная группа с Петровки, работали следователь, эксперт, кинолог с собакой, а теперь этим делом занимаемся мы. После осмотра места происшествия многое уже ясно: судя по следам, к вам забрались двое. Один, высокий, был одет в темно-синий свитер – нитка зацепилась за трещину в стеллаже. Преступники проникли через незакрытое окно между девятью и десятью часами вечера, распили две бутылки вина и в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, пытались совершить кражу, хотя, правда, при осмотре места происшествия намерение проникнуть в другие помещения, скажем в бухгалтерию, не подтвердилось.

– Я же говорю: нечего красть! – встрял Чесноков.

– Погоди, – поморщился Шумилин.

– Объясняю, – продолжил капитан. – Возможно, преступников кто-то спугнул. Собака взяла след и довела до трамвайной остановки «Новые дома». Остановка видна из вашего окна. Свидетелей пока нет. Вот все, что мы имеем на сегодня. Если без профессиональных подробностей. К нам подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Следователем возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения кражи.

– Ясно, – начал Шумилин, которого задела снисходительная манера инспектора. – Все это неожиданно...

– Преступление – всегда неожиданность, – отозвался Мансуров. – На первый взгляд...

– Вот так, да? – в тон ему переспросил первый секретарь. – Но для нас, товарищ капитан, это еще, если хотите, вопрос чести...

– ...Это надругательство над героической историей комсомола, – вдохновенно подхватила Комиссарова, – вызов каждому, кто носит комсомольский значок, – это тень на всю районную организацию – одну из лучших в городе. А для работников аппарата это еще и нравственная травма. Представьте, что к вам в РУВД забрались...

– Извините, не могу. От нас обычно хотят выбраться.

– Эмоциональность Надежды Григорьевны понять можно, – раздраженно взглянув на третьего секретаря, снова заговорил Шумилин, – это действительно вызов, поэтому очень важно привлечь к поискам наш районный оперативный отряд.

– Один из лучших в городе! – гордо добавила Комиссарова.

– Краснопролетарское – значит лучшее, – пробормотал в сторону заворг.

– Ну, об этом мы сами догадались, – улыбнулся капитан. – С вашим оборонно-спортивным отделом все оговорено, дружинники уже опрашивают подростков в микрорайоне, кое-где дежурят.

– Хорошо. А что еще можно сделать?

– Можно мусор убрать – специально до вашего приезда держали. Что еще? Окно не забывайте на ночь закрывать. Если б заперли – может, они бы и не залезли. А я пока с вашего разрешения побеседую с работниками райкома...

Инспектор попрощался и по осколкам захрустел к двери.

– Кто открыл окно? – грозно спросил Шумилин, когда он вышел.

– Я! – скромно признался Чесноков.

– Ты?! Когда?

– Еще в мае, во время аппарата. Помнишь, ты сказал: «Олег Иванович, солнышко-то совсем летнее, вскрой, пожалуйста, окошечко!»

– Что ты мелешь?

– А ты спрашиваешь, как будто не знаешь, что окно у нас все лето настезь.

– Но на ночь-то закрывать нужно!

– А ты сам сколько раз последним уходил – всегда закрывал?

– Н-нет... Ну ладно. Теперь другое: вы бы хоть при инспекторе постеснялись! Ты, Олег, соображай, когда острить.

– Виноват, командир.

– Дальше: кто первый увидел все это?

– Я, – выступила из-за спины заворга Комиссарова. – Я субботу рабочим днем из-за слета объявила, прихожу в девять часов, открываю дверь – со мной плохо. Кононенко уже не работает. Ты – в отпуске. А я ни разу в жизни милицию не вызывала. Позвонила по ноль-два, а потом тебе телеграмму дала.

– Так. В райком партии сами сообщили?

– Сами.

– Молодцы. Как первый отреагировал?

– Ему на дачу дежурный позвонил, Ковалевский сказал, что с комсомолом не соскучишься.

– Он знает, что меня из отпуска вызвали?

– Наверное, знает.

– Хорошо. Что с горкомом?

– Я сама в приемную звонила.

– Ладно. Все нормально пока. Дальше жить будем так: Надя...

– У меня совещание по пионерскому приветствию.

– Совещайся. Олег, через двадцать минут ты мне доложишь о подготовке слета, в половине первого соберем аппарат. Пока пусть все обзванивают членов бюро, кого найдут, – до двенадцати люди еще дома, если с пятницы из города не уехали. В два часа экстренное заседание бюро. А до этого проведите маленький субботник – пусть ребята быстренько зал заседаний уберут. Все понятно?

– Что говорить членам бюро? – спросил Чесноков.

– Ничего. Говорите: я прошу их срочно приехать.

... Из-за неплотно прикрытой двери было слышно, как сметают в совок осколки и скрипят влажной тряпкой по полировке, двигают стулья – уничтожают следы происшествия.

– Мети лучше! – командует Чесноков. – Видишь, стекло остается!

– За один раз все равно не выметешь, – оправдывается Аллочка. – Осколки в паркет забились, нужно уборщицу предупредить, а то все руки порежет...

«Об эти осколки не только руки порежешь!» – зло подумал Шумилин и набрал номер дежурного по райкому партии, сообщил, что прилетел, разбирается на месте, и узнал: завтра утром его хочет видеть первый секретарь Краснопролетарского РК КПСС Владимир Сергеевич Ковалевский.

## 5

Через полчаса краснопролетарский руководитель выяснил, что по вверенному ему райкому имеют место быть два ЧП: налет, совершенный неизвестными хулиганами (этим занимается милиция), и срыв традиционного слета, осуществленный известными работниками аппарата (чем предстоит заняться самому Шумилину). Причина, как всегда, крылась в кадрах. Четыре года его правой рукой был Виктор Кононенко, умный, опытный парень и, что совсем редко для заместителя, верный товарищ. Кононенко прошел путь от инструктора до второго секретаря, аппаратное дело знал до тонкостей. Уходя в отпуск или отбывая по линии «Спутника» за границу во главе туристской группы, первый за райком был спокоен – Витя не подведет. И вот теперь, в такую трудную минуту, нельзя ему даже позвонить: бывший второй теперь ворочает комсомолом на одном из участков БАМа. Впрочем, в комсомоле внезапных переходов не бывает – все заранее обговаривалось, да и сам Кононенко, инженер-строитель по образованию, давно рвался на оперативный простор.

А Шумилин, которого настораживала все возраставшая любовь Ковалевского ко второму секретарю райкома комсомола, немало поспособствовал, чтобы это назначение состоялось. Если бы он только знал, что Кононенко заберут так рано! Во время отпуска! Да, это – прокол: первый обязан предвидеть все!

Дальнейшие печальные события восстановить было не сложно.

Оставшись в райкоме за старшего, третий секретарь Комиссарова потеряла голову из-за пионерского приветствия участникам слета и пустила все на самотек. Сложилось обманчивое впечатление, будто что-то делается, кипит работа, берутся намеченные и определяются новые рубежи, а по сути, слет, мероприятие общегородского масштаба, оказался на грани срыва. И если хоть что-нибудь сделано, то благодарить нужно вышедшего из отпуска несколько дней назад заворга Чеснокова. В распахнутом кожаном пиджаке, со свистом рассекая воздух тугим животом, он носится по райкому, звонит одновременно по двум телефонам, озадачивает сразу двух инспекторов, диктует машинистке свой кусок доклада... А может, его – на место Кононенко? В горкоме советовали.

В настоящий момент кудрявый Чесноков стоял перед первым секретарем, смотрел преданными черными глазами и, сверяясь с «ежедневником», докладывал о подготовке к слету:

– Первая позиция. Президиум. Точно будут: Ковалевский, секретарь горкома комсомола Околотков, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Панков, Герой Социалистического Труда ткачиха Саблина, делегат съезда – она же член нашего бюро – Гуркина, ректор педагогического института Шорохов... Пока все. Нужно пригласить, только уж сам звони: космонавта, узнаваемого актера из драматического театра и обязательно ветерана, но такого, чтобы выступить не захотел, а то, помнишь, на прошлогоднем слете дед из Третьей Конной час рассказывал, как ногу в стремя ставил...

– Олег Иванович! – Шумилин невольно улыбнулся и нахмурил брови.

– Понял. Не повторится. Вторая позиция. Твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сдали, я их свел, Аллочка допечатывает, можешь пройтись рукой мастера.

– Фактуру по работе с подростками не забыли?

– Обижаешь, командир! Локтюков и Комиссарова расстарались. Особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово!

– Вот так, да? Дальше.

– Плохо с выступающими. Пропаганда пока никого не подготовила – с Мухиным разговаривай сам. Мои ребята ведут печатника, строителя и двадцатичетырехлетнего кандидата наук, представляешь? По другим отделам будут: студент из педагогического, первокурсник – ты его не знаешь, спортсмен, солдатик, от творческой молодежи, как всегда, выступит Полубояринов. Да-а, совсем забыли: от майонезного завода будет этот... как его?..

– Кобанков?

– Точно. Он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил. Со слезой! Само-родок!

– А когда у них собрание?

– Завтра. Первыми проводят.

– Вот так, да? Надо к ним съездить. – Шумилин сделал пометку на перекидном календаре.

– И последнее: школьный отдел пишет выступление на тему «За партией – как в бою!».

Краснопролетарский руководитель снова улыбнулся и спросил:

– Сколько всего выступлений?

– Девять. Из них два резервные.

– Сколько подготовлено?

– Два: Кобанков и Полубояринов...

– А слет в среду! С этого и начинал бы. Дальше.

– Третья позиция. Приглашительные билеты. НИИТД отпечатал еще в начале недели, уже разослали. Вот образец.

И Чесноков положил на стол красные глянцевые корочки с золотым тиснением.

– Красиво, – покачал головой первый секретарь. – Райком, выходит, не готов, зато билеты готовы. Дальше.

– Четвертая позиция. Скандирующая группа. Взяли молодых ребят из драматического театра; когда их слышишь, хочется встать и запеть...

– В день слета в спектакле они не заняты?

– Кто?.. Нет, наверное...

– Проверь.

– Понял. Пятая позиция. Плакаты пропаганда еще не сделала, с Мухиным разговаривай сам, у него на все один ответ: решим в рабочем порядке. Кстати, кино – в рабочем порядке – он тоже до сих пор не заказал. В последний момент, боюсь, привезет какой-нибудь «Центрнаучфильм». Ты бы позвонил, может, недублированный дадут? Актив побалуем.

– Не дадут.

– Почему?

– Вредно это!

– Понял, командир. Но тогда тех, которые для нас фильмы покупают, надо отстранять!

– Зачем?

– Потому как отравлены буржуазной идеологией: они ведь все фильмы – и сдублированные! – смотрят. Жуть! Шестая позиция. Транспорт для пионеров занимается Шестопалов. Я ему сказал: если не решит вопроса с автобусами, повезет на себе...

– Письмо в автохозяйство отправили?

– Нет еще.

– Из скольких школ пионеры?

- Из пяти.
  - Где собирать будете? Где репетировать?
  - Во Дворце.
  - С директором договорились?
  - Кажется, да...
  - Кажется... За три дня до слета знать нужно! Кажется... Дальше.
  - Седьмая позиция. Сцена, президиум, контакт с ДК автохозяйства, звукорежиссура – всем занимается Мухин, обещал решить в рабочем порядке, разговаривай с ним сам.
  - Значит, тоже не сделано, – еще больше помрачнел Шумилин.
  - Восьмая позиция. Рассадка в зале. Этим занимаются мои ребята, студенческий и школьный. Заяшников приведет первые курсы педагогического, мои обеспечат делегации предприятий и организаций, подстрахуемся школьниками. Если в зале останется хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Девятая позиция. Дружинники. Локтюков все сделал. Тридцать районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги. Шучу. Десятая позиция. Буфет. Я договорился: трест столовых организует два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками, посмотри список – там интересное есть... Пометь – я тебе отложу. Одиннадцатая позиция. Корреспондента из «Комсомольца» я пригласил, звонил от твоего имени, с радио тоже будут. Телевизионщики ответили, что снимали нас в прошлый раз – сколько можно? Кстати, сделать это должен был Мухин, но средства массовой информации я никому не доверяю. Ты, например, давно себя в газете на фотографии видел?
  - А что?
  - Ничего. Двенадцатая позиция. Приветствие пионеров. Разбирайся сам: Комиссарова, как всегда, сварганила целую мистерию. Барабаны, фанфары, дети грудного возраста читают стихи, под конец весь президиум с красными галстуками на шеях.
  - У тебя все? – снова нехотя улыбнулся Шумилин.
  - По слету – все.
  - Ладно. Узкие места сейчас на аппарате обговорим. Ты с Комиссаровой к завтрашнему дню подготовь подробный сценарий. Еще что?
  - Подлещиков опять письмо прислал.
  - Про выставку?
  - Нет, про выставку ему давно ответ отправили – успокоился.
  - А теперь что?
  - Народный театр пантомиму по «Алым парусам» поставил.
  - Интересно!
  - Так вот, Подлещиков возмущается, что по сцене «Ассоль в одной комбинации бегаёт», а капитан Грэй «до пояса голый».
  - А почему этим твой отдел занимается?
  - Поручи Мухину, если неприятностей хочешь.
- Шумилин задумался: Подлещиков имел воинское звание генерал-лейтенанта и, выйдя в отставку, весь свой не растроченный на строевых занятиях потенциал обрушил на эпистолярный жанр. В основном его интересовали литература и искусство, но при случае он мог высказаться также по вопросам экономики, морали, права... Райком вел с ним давнюю, изнурительную переписку.
- Ладно, – согласился краснопролетарский руководитель после размышлений. – Ответь, как обычно: письмо обсудили в райкоме, с художественным руководителем проведена беседа. Напиши, что режиссер, мол, ничего плохого не думал, а просто хотел передать обнаженность чувств и романтичность гриновских героев. Ну и поблагодари его за внимание к молодежи.
  - Понял, командир.
  - Еще что?

– В НИИТД есть ставка младшего инженера – сто тридцать рублей. Я от твоего имени разговаривал со Смирновым, он согласен, можно брать «подснежника»...

– Вот так, да? И в чей же отдел?

– Ну не в мухинский же! Ты же знаешь, у меня каждый инструктор ведет столько организаций, что...

– Хорошо, я подумаю. Но от моего имени на будущее позволь разговаривать мне самому.

– Понял, Николай Петрович.

– Больше ты ни с кем от моего имени не разговаривал?

– Н-нет.

– Слава богу. Скажи мне, ты знаешь, что горком тебя на место Кононенко рекомендует?

– Меня?

– Тебя.

– Знаю, конечно.

– Ну и что ты по этому поводу думаешь?

– Всегда готов!

– А по-моему, Олег Иванович, ты еще не готов, по крайней мере не всегда... Ладно, продолжим после. А теперь скажи мне: по-твоему, хулиганы случайно к нам забрались или тут что-то другое?

– Уверен, случайно, но как раз это – самое противное!

– Вот так, да? Ну, зови аппарат.

Пока собирались сотрудники, Шумилин раздумывал о том, что Чесноков совсем не похож на ушедшего Кононенко, представлял, как, став вторым, заворг начнет рваться в первые, и хотя к тому времени, скорее всего, сам Шумилин перейдет на другую работу, мысль об этом была неприятна. Еще он думал о предстоящем разговоре с Ковалевским. Даже делая разнос, Владимир Сергеевич никогда не кричал, а словно бы вышучивал провинившегося, но, раз и навсегда разочаровавшись в сотруднике, решал его судьбу быстро и жестко. Такую особенность замечаешь у многих фронтовиков.

Завтрашняя встреча с Ковалевским не радовала: что бы ни случилось в районе, первый виноват всегда, это закон. Кроме того, Шумилин не один год горел на комсомольской работе, привык считать себя неплохим функционером, и нелепая выходка напившихся малолеток была по его самолюбию. Почему именно в моем районе? Что, мало в городе райкомов, почти не занимающихся молодежью?! И еще одно: поселившееся в душе после спасения на водах чувство тревожного ожидания смешивалось теперь со смутным ощущением собственной вины, ощущением беспричинным и потому неодолимым.

Шумилин вышел в зал заседаний: чистота и порядок, будто ничего не произошло, только непривычно выглядели опустевшие стеллажи для сувениров.

Работники райкома расселись вокруг длинного полированного стола по однажды введенной системе: инструкторы группировались вокруг своих заведующих, причем у каждого отдела было установленное место. Занимать чужие стулья считалось дурным тоном.

По правую руку от возглавлявшего стол первого секретаря на место Кононенко, поколебавшись, сел Чесноков, по левую руку, как обычно, расположилась прибежавшая с совещания Комиссарова. Далее, в окружении инструкторов, как штатных, так и «подснежников», сидели заведующие отделами: студенческим – Надя Быковская, оборонно-спортивным – Иван Локтюков, заведующая сектором учета Оля Ляшко, с другого конца стола на первого секретаря беспокойно смотрела заведующая финансово-хозяйственным сектором Нина Волковчук. Многочисленный организационный отдел неуютно сбился вокруг освободившегося стула своего руководителя Чеснокова.

– А где Мухин? – спросил Шумилин, заметив пустое место заведующего отделом пропаганды и агитации.

- В организацию уехал, – неумело стал выгораживать своего шефа инструктор Хомич.
- В какую организацию? Сегодня воскресенье!
- Значит, заболел...

Краснопролетарский руководитель решил обратиться к аппарату с серьезной мобилизующей речью, но не смог вначале удержаться от язвительного укора, что, мол, в его присутствии никто ночью в райком не лазит, а стоило уехать в отпуск, начались ЧП. Справившись с раздражением, он охарактеризовал происшествие как досадную случайность, требующую от сотрудников умения держать себя в руках, а язык за зубами. Кроме того, случай с хулиганами невольно бросает тень на славные дела райкома – и поэтому так важно на высочайшем уровне провести традиционный слет!

Затем Шумилин рационально перераспределил некоторые задания по принципу сложнейшее – опытнейшим и под сдержанный ропот большинство позиций пропаганды передал другим отделам.

Потом по сложившейся традиции первый секретарь поздравил очередного новорожденного – инструктора Тамару Рахматуллину, вручив своевременно подsunутые ему цветы и подарок – керамическую вазу, из тех, которые годами стоят на полках магазинов, пока их не купят отчаявшиеся профкомовцы. Наконец он распустил аппарат, а сам вернулся к себе в кабинет и на всякий случай набрал номер жены: в информационно-бытовых целях они все-таки общались. Но телефон молчал.

Чтобы не терять времени, пока соберутся члены бюро, Шумилин разложил перед собой машинописные странички и принялся просматривать текст доклада на слете.

Умение хорошо говорить с трибуны, даже по написанному, дано не каждому. Во-первых, сам текст должен быть ясным, но не упрощенным; серьезным, но не сухим; аргументированным, но не перегруженным цитатами; критическим, но не мрачным. Во-вторых, читая доклад (наизусть свои выступления учили только древние ораторы, которым рабовладельческий строй оставлял много свободного времени), нужно регулярно отрывать глаза от страничек и посматривать в зал, хорошо несколько раз как бы отвлечься и сказать нечто будто бы от себя, вызвать улыбку у слушателей. Наконец, говорить нужно внятно, не глотать окончаний, делать логические паузы, не путать слова, правильно ставить ударения: «средствá» и «квáрталы» недостойны современного руководителя!

Ораторскому искусству Шумилина нигде не учили, оно пришло вместе с холодным потом и дрожанием в ногах после первых выступлений. Страницу за страницей он просматривал доклад, исправлял опечатки, ставил на полях вопросы и злился. Лентяи! Даже не потрудились отредактировать или пересказать другими словами. Вот кусок из выступления на совещании молодых специалистов, а вот абзацы из доклада на пленуме. И еще недоработка: не предусмотрены «забойные» места, вызывающие аплодисменты. Придется брать домой – дорабатывать. Остальное вроде нормально. И все же чего-то не хватает.

Первый секретарь хорошо понимал: участники слета обязательно узнают про случай в райкоме и, уверенные заранее, что ни слова о происшествии в докладе не будет, все равно станут ждать – а вдруг?

Никаких «вдруг».

## 6

Из тринадцати членов бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой полубокс, сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня хлопчатобумажного комбината Светлана Гуркина готовилась к завтрашнему занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка, в последнее время любой разговор начи-

навшая со слов: «Вот когда мы на съезде...» Секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его по роли Дантеса в семисерийном телефильме «Черная речка».

Все они по-военному ответили «есть» и к четырнадцати ноль-ноль приехали в райком.

Кворума не было, но в сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось. Усадив членов бюро, Шумилин сразу же рассказал о причине экстренного заседания и передал разговор с инспектором.

– То-то я смотрю: все стеллажи пустые! – догадался Полубояринов. – А какой хрусталь был!

– При чем тут хрусталь?! – возмутилась Гуркина. – По всему городу разговоры теперь пойдут, а если на бюро горкома вопрос поставят – минимум два года никаких мест занимать не будем. А почему? Мы-то в чем виноваты? Мне на съезде один делегат из Сибири рассказывал: к ним в райком медведь залез – и ничего!

– Неприятно, конечно, но это как несчастный случай – никто не застрахован. С таким же успехом они могли и к нам в театр залезть, – поддержал Максим.

– Товарищ Бутенин, не вижу активности! – оживился Шумилин.

– Активность раньше была нужна. Я, Коля, понимаю: в ситуацию ты попал паршивую, одним словом, на разных коврах объясняться придется. На нас можешь положиться – бюро всегда поддержит, но сейчас я тебя успокаивать не стану. Не может человек просто так в райком полезть. Когда говорят: «Спьяну взбрело!» – это неправильно: пьяный делает то, что у трезвого в голове уже было.

– Алексей Иванович! Вернемся к нашим хулиганам, а то я на спектакль опоздаю, сегодня как раз «Преступление и наказание», – сработал на публику Полубояринов.

– Я ж об этом и говорю! В комсомол мы принимаем, будто главное – билет выдать и взносы собрать вовремя. А кто, что – дело десятое.

– А тебя никто не заставляет неподготовленную молодежь принимать! – привычно возразил Шумилин.

– Это ты сейчас так говоришь! – усмехнулся Бутенин. – А когда тебя в горкоме за пушистый хвост возьмут, мы другое слышим: «Давай! Давай! Давай!»

– Ты, Леша, ревизионист! – мечтательно произнес Полубояринов.

– Да! И в ревизионной комиссии горкома, в отличие от тебя, не только числюсь. Недавно по письму ездил: сообщили, что в комитете комсомола рафинадного завода активисты вечерами пьют, а потом на столе заседаний трахаются. Подтвердилось!

– А хулиган-то здесь при чем? – покраснела Гуркина.

– А при том, что такого еще никогда не было – райком громить! Одним словом, если б они комсомол уважали, в райком не полезли бы.

– Разговор на уровне «ты меня уважаешь», – поддел Полубояринов.

Члены бюро замолчали. Было слышно, как за окном по переулку проезжают редкие воскресные автомобили. Шумилин понимал, что от него ждут решения.

– Мне бы хотелось, – начал он, еще не зная до конца, что скажет, и чувствуя какую-то трибунность взятого тона, – чтобы произошедшее оказалось случайностью, хотя и за случайность отвечать придется. И мнение мое такое: в связи со слетом очередное бюро у нас будет не в среду, а во вторник. К этому времени, надеюсь, прояснится что-то и у милиции. Давайте отложим все другие вопросы – они терпят – и вернемся уже в полном составе к этому разговору, разберемся, что тут закономерность, а что случайность, что произошло из-за незакрытого окна, а что по другим причинам. Договорились!

Члены бюро с шумом отодвинули стулья и начали собираться.

– На вот тебе для коллекции, – вернувшись от двери, протянул Бутенин тоненький сборничек. – В командировке купил.

Оставшись один, Шумилин закурил и поймал себя на том, что за годы общественной работы приобрел навыки эдакого миротворца, укротителя страстей. А может, именно Бутенина нужно брать на место второго? Правда, у него ни образования, ни опыта аппаратной работы, но зато комсомол для него – комсомол, а не ступеньки в жизни, этим он и похож на Кононенко. И парень Леша хороший, только резковатый... А почему, собственно, мы стали любить разных молчаливых насмешников, смотрящих на наши недостатки и несурезицы, словно воспитанные иностранцы, с ироническим удивлением: почему, мол, аборигены порядок у себя навести не могут? А ведь они никакие не интуристы, а соотечественники, граждане, не в обиходно-транспортном – в главном смысле этого слова, они люди, от которых все и зависит! Почему человека, с болью и виной называющего вещи своими именами, мы, внутренне соглашаясь, все-таки воспринимаем как возмутителя спокойствия? Слава богу, что он покой возмущает! С покоя, вернее с успокоенности, вся безалаберность и начинается. Тут Бутенин абсолютно прав! Тогда получается: ощущение вины есть не у одного краснопролетарского руководителя, а то он уже решил, что это последствия его последней подводной охоты. Шумилин невольно прислушался к себе и сразу уловил знакомое тревожное ожидание – казалось, даже сердце бьется с какими-то переборами, словно спотыкается. Ерунда! Он взял в руки книжицу, подаренную Бутениным. Почти всем в районе было известно, что Шумилин собирает первые сборники поэтов – и в его коллекции есть почти все классики, не говоря уже о нынешних стихотворцах. Но мало кто знал о том, что начало коллекции положила книжечка шумилинского однокурсника, ко всеобщему изумлению вышедшего в поэты.

Итак, Верхне-Камское книжное издательство. Иван Осотин. «Просинь». Название настораживало. На фотографии – здоровяк с мужественным прищуром. Аннотация сообщает: молодой поэт (тридцать семь лет) «пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи...». В предисловии уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто «за стихами Осотина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание... Особенно близка ему комсомольская тема...». Это интересно. Открываем.

Надо сказать, Шумилин особенно внимательно и ревниво следил за тем, что пишет отечественная литература о комсомоле. И это понятно: врачи с желчным любопытством читают романы про медиков, работники правоохранительных органов недоумевают над книгами о сыщиках, деятели торговли смущаются сцен из жизни рядовых продавцов... Краснопролетарский руководитель не был исключением, и нередко, отложив недочитанную повесть о своих коллегах, он изумлялся: «Если то, что изобразил писатель, – комсомол, где тогда, простите, состою я сам?!»

Разумеется, сборник Ивана Осотина Шумилин раскрыл на комсомольском стихотворении:

## **ВЕРНОСТЬ**

*Когда  
мой день  
особенно тяжел,  
Когда  
пути не видно  
в стуже лютой,  
Я говорю:  
– Товарищ Комсомол,  
Ты  
помоги мне в трудную*



– Что же ты думаешь делать? – укоряюще спросила Людмила Константиновна. Как многие из отошедших от дел ответработников, она не верила в безвыходные ситуации.

– Заявление на стол класть не собираюсь! – обиделся он.

– Я не об этом... А впрочем, если б такое случилось в мое время, я бы ушла... Разобралась бы с ЧП и ушла!

– Ты и так ушла.

В пятидесятые годы она была третьим секретарем Краснопролетарского райкома комсомола и по призыву ушла на производство на небольшой завод, где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа, Петра Филипповича Шумилина, догадывавшегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речь не идет: в те времена комсомольские богини были убеждены, что «Шанель № 5» – это улица и дом в Париже, где жил Владимир Ильич Ленин. И в один прекрасный день Колин отец поставил вопрос ребром: или я, или райком! Тогда брак обладал еще таинственной крепостью и долговечностью средневекового цемента, секрет которого ныне утрачен. И Людмила Константиновна подчинилась.

– А почему ты ушла бы? – после молчания недовольно переспросил сын.

– Потому, что, если такое может произойти в райкоме, грош цена тебе как первому секретарю.

– Вот так, да? Это максимализм, мама!

– Это единственно возможное отношение к делу, – отрубил Людмила Константиновна, восемь лет избиравшаяся секретарем парткома, правда неосвобожденным. – Сначала мы не обращаем внимания на мелочи, а потом удивляемся, что начальством становятся люди, которым руководить противопоказано.

– Это ты в масштабах своего завода? – поинтересовался Шумилин, знавший о сложных отношениях матери с нынешним директором ее родного предприятия.

– Не паясничай!

– Значит, ты считаешь, мне нужно уходить?

– Во всяком случае, задуматься, как вы работаете.

– А вы работали лучше?

– Мы работали, может быть, и хуже – не так сноровисто, но зато бескорыстнее и честнее!

– И молодежь за вами шла?

– Шла!

– И на собраниях спорила?

– Спорила!

– И на субботниках горела?

– Горела!

– И колбаса в ваше время из мяса была?

– Была... Не паясничай!

Лизка, изнемогавшая от равнодушия засерьезничавших взрослых, полезла в холодильник и достала кусок высохшей докторской колбасы.

– Умница. Положи на место, – сурово похвалила бабушка. – Помощница растет. И вот что еще, Коля: ты должен окончательно решить с Галей. Так, как вы, нельзя! Я никогда не вмешивалась, но если вы боитесь за ребенка, она, пока вы разберетесь, побудет у меня.

– А что это ты вдруг?

– Вдруг? Полгода врозь – это, по-вашему, вдруг?!

– Ты с ней разговаривала?

– Разговаривала. Галина привезла Лизу и закатила истерику, сказала, что разводится с тобой. По-моему, она хочет помириться. Подумай, Коля, хорошенько! Жену ты себе найдешь, если уже не нашел, но не только в этом дело...

- Я понял. Галя Лизку надолго привезла?
- Завтра заберет. Ей куда-то нужно съездить, а теща твоя, как всегда, на юг укатила!
- Ну и правильно: на море сейчас хорошо. Ты не хочешь съездить?
- Мне некогда...

Потом Людмила Константиновна с грохотом мыла на кухне посуду. Шумилин, сидя в кресле, смотрел по телевизору передачу о новом способе термообработки металлических труб широкого диаметра, а Лизка, опутавшись прыгалками, словно проводом, и приставив к губам в качестве микрофона кулачок, томно раскачивалась, подражая эстрадным дивам, и пела: «Все-о пройдет, все-о-о-о пройдет...»

## 8

Шумилину приснился детективный сон, будто бы он, предупрежденный о готовящемся налете хулиганов, прихватил с собой подводное ружье и устроил ночью в зале заседаний засаду, но именно в тот момент, когда первая тень появилась в оконном проеме, а он тихонько сдвинул предохранитель, раздался оглушительный телефонный звонок. «Идиоты», – заскрипел зубами Шумилин, стал нащупывать в темноте трубку и нажал кнопку будильника.

Было утро. В солнечной полосе, пробившейся между занавесками, клубилась пыль. Испуганное звонком сердце колотилось очень быстро и громко. «Надо сходить в поликлинику, – подумал первый секретарь. – А Таня, наверное, меня уже забыла».

До начала рабочего дня оставалось полтора часа – как раз чтобы потрудиться над захваченным домой докладом. В восемь сорок пять он вышел из дому. На дворе стоял ясный, совершенно не осенний день, только листва на деревьях была уже по-сентябрьски усталая. Краснопролетарский руководитель сел в поджидавшую его пожарного цвета «Волгу», закрепленную за райкомом, и распорядился: в Новый дом.

Райкомовский водитель Ашот, молодой модный армянин, плавно тронулся, всем видом давая понять, что только злая судьба заставляет его ездить на казенном автомобиле вместо собственного. Шофер больше всего не любил лихих мальчиков, красиво рассеявшихся за баранками папиных лимузинов; сын честных и небогатых родителей, Ашот каждую свободную минуту тратил на использование служебной «Волги» в корыстных целях, и если бы не женщины – четвертый свет его светофоров, – машину он давно бы купил. Обычно день начинался с рассказа про то, сколько личных средств пришлось израсходовать, чтобы машина вышла на линию. «Волга» была старенькая – и Ашот действительно крутился как мог, но сегодня его интересовало другое.

- Поймали этих козлов? – первым делом спросил он.
- Пока нет, но поймают.
- А что тебе будет? – На «вы» Ашот обращался только к незнакомым красивым женщинам средних лет.
- Не знаю. Может, последние дни ездим, – усмехнулся Шумилин.
- Э-э, тебя не снимут: ты с райкома имеешь меньше, чем я с этого тигра! – И он хлопнул ладонью по баранке. – Слушай, если можешь, дай сегодня на обед часа два. Дома кушать нечего!
- Интересно, у тебя же зарплата, как у меня, – двести двадцать.
- Двести десять.
- Еще ты халтуришь!
- Халтурят музыканты. Строители калымят. Продавцы наваривают. Мы, шофера, крадем – чтобы ты знал.
- Вот так, да? Буду знать. Но мне моей зарплате хватает.
- Поэтому тебя так жена и любит.

– А это с чего ты взял?

– Умный человек, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего обзора имеет.

– Мне стыдно, что ты меня возишь, а не я тебя...

– Никто бы не одолел героя, не будь вина и женщин! – вздохнул Ашот, тормозя на красный свет.

– Кто же так сказал?

– Я и мудрость народа. А ты, Николай Петрович, не герой – с тебя одной женщины хватит и этих твоих подростков.

– Это ты тоже через заднее зеркало увидел?

– Райком – та же деревня, – пояснил водитель, трогаясь на зеленый. – Знаешь, как тебя девочки из сектора учета зовут?

– Как?

– Никола-угодник.

– Не смешно.

– Тебе не смешно, а им смешно. По сравнению с картотекой все смешно... Приехали, товарищ секретарь...

Райком партии, недавно построенный красивый белый дом, стоял на площади в окружении голубых елей. В отличие от старого здания, где теперь помещались РОНО и другие учреждения, в аппаратных кругах его называли Новым домом.

Здороваясь как заведенный, Шумилин поднялся на третий этаж, кивнул знакомому постовому милиционеру и около приемной первого секретаря столкнулся с инструктором отдела пропаганды и агитации Шнурковой. Три года назад она перешла на партийную работу из Зеленого дома и была твердо уверена, что с ее уходом райком комсомола покатился по наклонной плоскости, чему немало способствовал лично товарищ Шумилин. Эту мысль она настойчиво и с выдумкой внедряла в сознание работников Нового дома.

– Здравствуйте, Николай Петрович, – поприветствовала она, глянув из-под тяжелых век. – Наслышаны, с чем районный комсомол к слету пришел! Мы в свое время другим встречали.

– Мы тоже, Зинаида Витальевна, к слету неплохо подготовились, а тем досадным происшествием занимается милиция.

– Ну что ж, может быть, и милиции пора комсомольскими делами заняться.

– Что вы имеете в виду?

– Полагаю, в скором времени мне предоставится возможность пояснить свою мысль.

– Как угодно, – пожал плечами Шумилин и, обойдя Шнуркову, зашел в приемную, справился у технического секретаря и стал ждать.

Наконец из кабинета выскочил энергичный, румяный зампредисполкома Компанеец и, увидев комсомол, покачал головой со смешанным чувством осуждения и сочувствия.

– Как первый? – спросил, пожимая протянутую руку, краснопролетарский руководитель.

– Философски настроен, но, кажется, неважно себя чувствует.

Шумилин вошел в большой, обшитый полированным деревом кабинет. Первый секретарь райкома партии Владимир Сергеевич Ковалевский, подвижный шестидесятилетний человек с усталым лицом и синеватыми губами сердечника, стоял у окна и держал в руке трубочку валидола.

– Садись, – сказал он, оборачиваясь. – Может, и правда лучше вместо сердца пламенный мотор иметь, а? Впрочем, ты еще молодой – не понимаешь, я тоже на фронте в себя больше, чем в двигатель своего танка, верил, ну да ладно... Как же вы это, братцы мои, дошли до того, что у вас райком грабят? Скоро секретарей начнут похищать, как Альдо Моро. Нехорошо! Милиция говорит: пацаны – значит, твоя недоработка. Что молчишь?

– Да вы и так, Владимир Сергеевич, все знаете.

- Все даже Маркс не знал. Что вы за поколение, братцы мои, со всем готовы соглашаться, лишь бы чего не вышло, только бы лишнего не сказать!
- Владимир Сергеевич, этим вопросом занимается РУВД.
- Понятно, что не Скотленд-Ярд.
- Наш оперативный отряд помогает, но независимо от того, кем окажутся хулиганы, я с себя ответственности не снимаю, мы соберем специальное бюро, будем делать выводы...
- Дело нужно делать, а не выводы. Со слетом-то зашиваетесь?
- В общем, да.
- Конечно, такой фейерверк не просто устроить! Это все, братцы мои, фронтовые операции, а что делаете вы в наступлении местного масштаба, о чем в центральных газетах не пишут?
- Разве мы мало делаем, Владимир Сергеевич?! Мы...
- Да ты не отчитывайся! То, что комсомол лучше всех отчитываться умеет, я знаю. Иной раз в президиуме, братцы мои, аж слезу уронишь. Недоволен я тобой. Недоволен! Если новости будут, сразу звони – лично приду на этих басмачей посмотреть...
- Мы обязательно их найдем! – твердо сказал вспотевший Шумилин.
- Ладно, иди – работай, – подытожил Ковалевский, отпуская Шумилина, но у самых дверей остановил его неожиданным вопросом: – Как думаешь: зря мы, наверное, Кононенко отпустили? На связь-то он выходит?
- Нет пока, но обещал написать или позвонить, как только устроится.
- Привет ему передавай. А может, и тебе, Николай, штабную жизнь на передний край сменить? Встряхнуться?! Ты ведь у нас педагог по образованию?.. А школа, сам знаешь, теперь какая – пореформенная... Что молчишь?..

## 9

«Что самое серьезное в службе?» – любил спрашивать старшина роты, в которой некогда служил сержант Шумилин. И сам же отвечал: «Самое серьезное в службе – это шутки старших по званию!»

Будем правдивы: неожиданное предложение Ковалевского задело Шумилина. Нет, он не боялся панически за свое кресло, тем более что Владимир Сергеевич, как выяснилось, крови не жаждет. Но было до слез обидно, а винить некого, кроме самого себя. Это чувство запомнилось еще со школы, когда привыкшему к похвалам, благополучному Коле Шумилину неожиданно вкатывали «пару» – и он возвращался домой, зло задевая портфелем стволы встречающих деревьев...

«Почему все объясняют мне то, что я сам отлично понимаю?!» – возмущался Шумилин, сдерживая желание садануть «кейсом» о фонарный столб.

Таким раздражительным в райком идти нельзя, и он остановился возле афиши. Последние годы краснопролетарский руководитель смотрел в основном те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, «на закуску». «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слет, а потом – актив, – мечтал Шумилин, с интересом читая афишу. – И схожу в кино! С Таней! Нельзя же, на самом деле, встречаться только в постели!..»

В райкоме комсомола имелось два входа – парадный и служебный. Парадный, со старинной дубовой дверью и симметричными вывесками, вел с улицы прямо в приемную; служебный находился во дворе, и чтобы через него попасть в свой кабинет, Шумилин должен был пройти через все здание; так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто краснопролетарский руководитель мелочно следил за подчиненными! Нет, просто он достаточно хорошо знал дело, сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировке лиц в кабинетах, расположению бумаг на столе определить, кто чем

занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно. Если, допустим, к нему приходил печальный инструктор и жаловался, что не может решить вопрос с арендой зала для вечера молодых учителей, Шумилин уже по интонации знал, натолкнулся работник на непреодолимое препятствие или не напрягался как следует. В первом случае он помогал, не вдаваясь в подробности, во втором спрашивал, звонил ли халтурщик, скажем, в клуб автохозяинства. «Звонил, но не дозвонился...» Это означало: и не собирался. Тогда первый секретарь брал служебный справочник, снимал трубку и за минуту обо всем договаривался, потом распорядился подготовить соответствующее письмо на имя директора ДК. В дверях провинившийся останавливался и начинал клясться, будто и вправду не смог дозвониться, но краснопролетарский руководитель наставительно замечал: «Первое, что должен уметь инструктор, – работать с людьми, второе – работать с телефоном...» И третье, но уже не имеющее отношения к описанной ситуации: нужно уметь не только просить, а еще и благодарить. Комсомольцы – ребята веселые: то, за что, например, профсоюзы выкладывают денежки, они умудряются получить за «спасибо», будь это зал для молодых учителей или знаменитый теледиктор, автобусы для экскурсии (их оплатит, как ни странно, само же автохозяство) или новые горны для пионеров. А вот сказать «спасибо» некоторые деятели забывают. Случалось и хуже: однажды с огромным трудом – в ногах валялись – уговорили приболевшего ветерана приехать на конференцию и... забыли дать ему слово. За такую забывчивость Шумилин наказывал беспощадно.

Но если не считать отдельных недостатков, которые только оттеняют наши достоинства, райкомовский коллектив в целом его устраивал. Шумилин сам в основном формировал его, и ругать собственный аппарат – значило ругать самого себя. Шумилин первосекретарствовал четвертый год, недовольные его стилем с миром ушли или, как говорят в комсомоле, трудоустроились. Другие – большинство – приносовились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем утвердит его в должности горком. «С номенклатурой не шутят!» – это был жизненный принцип.

Вместе с тем – как пишут в комсомольских постановлениях, когда хотят перейти к недостаткам, – у него было два несчастья, две боли, два креста: заведующий отделом пропаганды и агитации Мухин и заведующая методическим центром Мила Смирнова. Мухин стал завотделом еще до прихода Шумилина. Как такое случилось – одна из тайн природы, над которой можно биться всю оставшуюся жизнь. «Решим в рабочем порядке!» – обещал Мухин, получив очередное задание, и оказывался прав: задание выполнялось в рабочем порядке или инструктором, безропотным Валерой Хомичем, или, если одному не под силу, с помощью других отделов. В особо скандальных случаях Мухин заболел и возвращался уже после проведения чудом спасенного мероприятия. Телефонную связь он не любил и постоянно находился «в организациях», но, в отличие от остальных, никогда не забывал сделать запись об убытии в контрольном журнале. По-своему правдивый, заведующий пропагандой никогда не говорил: «Я был в организации», – а только: «Я выехал в организацию», – чтобы в случае проверки уточнить: мол, выехать-то выехал, но не доехал.

Трудоустроить Мухина было невозможно, потому что свое будущее он связывал с экспортом и импортом, мечтая поступить в Академию внешней торговли. Продавать высококачественные советские товары за падающую с постоянным ускорением иностранную валюту – вот, считал он, работа, достойная настоящего мужчины! Избавиться от нерадивого сотрудника путем его повышения – способ испытанный. Изнемогающий краснопролетарский руководитель пошел проторенным путем. Имелся и другой путь: решительный, но опытный аппаратчик, Шумилин знал – в каждом бездельнике дремлет высокоталантливый жалобщик и трудолюбивый составитель писем в инстанции.

Академия внешней торговли находится, как известно, в Москве, и комсомольский вожак запросил помощи у Ковалевского. «Не уверен я, – ответил осведомленный Владимир Сергеевич, – что этот ваш Мухин нам что-нибудь приличное у империалистов наторгует! В других странах за большое несчастье считается – за границей, на чужбине, братцы мои, работать, а у нас загранпаспорт – прямо ключи от рая... Недодумываем!»

В конце концов нынешним летом, рекомендованный со всех сторон, Мухин уже почти держал академию в руках, но срезался на экзамене, чего вообще никогда не бывает! Этот удар Шумилин перенес тяжелей даже, чем сам провалившийся.

Вторая беда первого секретаря находилась в данный момент за дверью с табличкой «Информационно-методический центр». Мила Смирнова – симпатичная стройная девушка, страстно увлеченная современными бальными танцами, попала на работу в райком волей своего отца, директора крупнейшего НИИТД, выручавшего комсомол могучей печатно-множительной базой, ведь бесчисленные постановления, рекомендации, планы, разработки, «методички» нужно было довести до каждой организации, а их в районе – двести сорок семь!

Дальновидный родитель, умудренный жизненным опытом, ответственным постом и докторской степенью, понимал, что фигурный вальс – для жизни неплохо, но и отметка в трудовой книжке о работе в райкоме в дальнейшем не помешает. Мила Смирнова была не просто бедой Шумилина, она была его грехом, потому что отказать директору НИИТД он не смог.

Доверие своего собственного отца Миле оправдывать не приходилось, это она уже сделала, родившись, и потому к делу относилась спокойно. Вкальывавший с юных лет Смирнов-старший обеспечил ей изобильное детство, веселую молодость, престижный вуз, впереди Милу ожидала благополучная зрелость. Многодетный директор НИИТД ходил на хороший мотор, приводивший в поступательное движение судьбы еще трех таких же чад (разных полов), и они существовали, совсем не думая о том, что движок когда-нибудь остановится – и тогда окажется: за проваленное дело могут не только нежно пожуричь, но и выгнать со службы; окажется, что жить и общаться с людьми, не чувствуя за спиной могучего дыхания родителя, очень не просто, по крайней мере мозги нужно использовать не только затем, чтобы формулировать очередную просьбу к папе. По наблюдениям Шумилина, оставшись без поддержки, подобные чада перестроиться не умели и оставшуюся жизнь донашивали как вытершуюся дубленку, некогда привезенную папой из Стокгольма. Однажды на загородной комсомольской учебе расслабившийся Николай Петрович попытался объяснить Миле все это, но она в ответ поглядела с тем недоуменно-холодным выражением, с каким разорявшиеся чеховские барыньки выслушивали советы дальновидных управляющих.

Короче, разговора не получилось – и это понятно: выездная комсомольская учеба не место для душевительных бесед. Судите сами: раз в год, обычно весной, районный актив во главе с аппаратом грузится в автобусы и выезжает в пустующий пионерский лагерь, чтобы за два-три дня научиться новым формам работы, а главное – сплотить ряды. В клубе, украшенном символикой красногалстучной детворы, первый секретарь кратко и деловито говорит вступительное слово о том, что рост духовных запросов молодежи предъявляет высокие требования к комсомольским активистам. Затем начинаются лекционные занятия, ораторы говорят, активисты обогащаются, а аппаратчики, приводящие в движение весь механизм учебы, сбиваются с ног, дабы привезти из города и – что еще важнее – отправить назад очередного докладчика. Потом лекции сменяются семинарами, деловыми играми, к вечеру плавно переходящими в игры неделовые. Заканчивается все спаиванием актива. Время пролетает мгновенно – и вот уже, грузно просев, автобусы увозят отяжелевших от знаний активистов.

Но вернемся к Миле Смирновой. В последнее время до Шумилина доходили разговоры, будто Смирнова приносит с собой «Панасоник» и тихонечко разучивает на работе новые танцы. Первый секретарь прислушался: из-за двери доносились приглушенная музыка и легкие

ритмичные пошаркивания. «Выгнать ее к чертовой матери!» – в бессильном гневе подумал он, понимая: такой шаг навсегда отрежет райком от печатно-множительной аппаратуры НИИТД.

...В большой комнате организационного отдела, бывшей танцевальной зале (дьявол заберит эту Милу!), трудились чесноковцы – Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Шестопалов, Тамара Рахматуллина. В углу расчетливый заворг уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организаций много, отдел не справляется, а вопрос о «подснежнике» опять-таки упирается в НИИТД и балльные танцы.

У Чеснокова все работали неплохо, он умел и научить, и заставить. Шумилин, как бы это выразиться, невольно залюбовался: профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой роясь в документах, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер, инструкторы бранили первичные организации из-за срыва запланированного приема в ВЛКСМ, переноса отчетно-выборных собраний, задержки взносов, ведомостей, сверок, отчетов, неправильного оформления характеристик и дел на бюро, из-за плохой явки комсомольцев на овощную базу, недостачи дружинников в оперативный отряд, посещаемости совещаний, многочисленных выбывших без снятия с учета и еще по поводу десятка важнейших вопросов.

Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наплзали друг на друга и таяли под высоким лепным потолком:

- Это не отговорки...
- Для таких случаев есть телефон...
- А для чего у тебя актив?..
- Заставляй работать комитет...
- Тогда я звоню к вам в партком...
- Объясни это Шумилину...
- Последний срок был вчера...
- Это ваши трудности...
- Ведомости привезли, а где квитанции сберкассы?..
- Лика, ты же обещала сегодня... Я и билеты купил...

На другом конце провода, если не считать последней фразы, в это время обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым кроме комсомольских дел нужно было еще выполнять основную работу, а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь, растить детей, вести домашнее хозяйство, учиться, повышать свой культурный уровень и даже отдыхать.

Проще приходилось с освобожденными, получающими зарплату в райкоме секретарями. Они руководили большими организациями, но и спросить с них всегда можно по большому счету – мол, не задаром работаете, – хотя Шумилин в последнее время стал замечать, что многие люди, получающие сто двадцать – сто сорок рублей в месяц, убеждены, будто работают именно задаром.

Из орготдельцев первому секретарю больше других нравился Петя Конышев. Тощий, лохматый, с лицом внезапно разбуженного человека, он сочинял стихи, изредка печатавшиеся в «Комсомольце», а в первый месяц своего пребывания в райкоме всех уморил справкой «Об организации досуга молодежи хлопчатобумажного комбината». Помнится, там шли обычные канцелярские фразы: «В результате работы комиссии выявлено... На предприятии создана сеть кружков, которые укомплектованы квалифицированными руководителями и охватывают столько-то процентов молодежи – из них женщин столько-то, мужчин столько-то, членов ВЛКСМ и несоюзной молодежи столько-то... В том числе действуют на комбинате и при общезжитиях 3 кружка кройки и шитья, 4 туристические группы, 5 спортивных секций и всего одна литературная студия. Это безумно мало! Такое отношение к литературе преступно!» Члены

бюро, истомленные трехчасовым сидением, повалились друг на друга и смеялись до судорог. Когда же, захлебываясь, Шумилин дома пересказал случившееся Гале, она ничего забавного не обнаружила. Вероятно, то был чисто профессиональный юмор, понятный только аппаратчикам.

...В отделе учащейся молодежи Комиссарова посадила перед собой инструктора Наташу Потапенко, заведующую пионерским кабинетом Шилдину и режиссера районного Дома пионеров и школьников Борщевского. Комиссарова вдохновенно импровизировала на тему приветствия слету:

– Нет... Не так. Стойте! Я вижу! В левом проходе фанфаристы, в правом – барабанщики, на балконе поднимаются буквы «ВСЕГДА ГОТОВ!». А можно еще в центре огонь из красных платочков?

– В принципе можно, – отвечал режиссер.

– Прекрасно! Значит, зажигается огонь, и выходит группа чтецов. Что с текстом?

– Текст готов, – успокоила Потапенко.

– Хорошо получилось! – добавила Шилдина. – Прозу сами написали, стихи переделали из приветствия позапрошлой отчетной конференции.

– А не узнают стихи?

– Кто же текст слушает? – удивилась Наташа. – Все на детей смотрят.

– Детей-то хоть толковых набрали? А то в прошлый раз девчонка от испуга со сцены убежала, а фонограмма орет: «Мы ребята-октябрята...» Кошмар!

Шумилин усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих: хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков.

Надю краснопролетарский руководитель знал еще по пединституту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сдала кандидатский минимум и рвалась на преподавательскую работу, но первый ревниво не отпускал. Иван был широко известен району, особенно мальчишкам, не столько как глава спортотдела, сколько как руководитель секции самбо и человек, расшибающий кирпичи ребром ладони. У Быковской с Локтюковым, судя по всему, дело шло к комсомольской свадьбе, Чесноков, надо полагать, рвался в свидетели.

– Хуже всего, если это какие-нибудь... – осекся завспорт, увидев в дверях начальство.

– Не звонил Мансуров? – поинтересовался у него Шумилин.

– А что ему звонить, он у меня в отделе с оперотрядниками беседует, тебя, по-моему, ждет. Я нужен?

– Пока нет. А ты, Олег Иванович, зайди ко мне перед аппаратом.

– Понял.

– Вы тут слет не прообсуждаете? Смотрите, на планерке по всем позициям проверю.

Шумилин вышел и дальнейшего разговора слышать не мог, а жаль.

– Что-то наш командир невесел, – посмотрел на закрывшуюся дверь Чесноков. – Видно, ему Ковалевский основательно вломил! Некстати это первому сейчас, ой, некстати...

– Сейчас? – переспросила Быковская. – А что такое?

– Чем вы только на работе занимаетесь! – пожал плечами заворг. – В горком на место Шпартко его хотят взять.

– Я не знала... Ну и правильно! Там как раз такой, как Шумилин, нужен.

– Пока Коля с хулиганами не разберется, я думаю, он нигде нужен не будет.

– А почему он должен отвечать за каких-то негодяев? Они, наверное, к нашему району и отношения не имеют!

– Во-первых, на то и ответработники, чтобы за все отвечать, а во-вторых, для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала! – заметил Чесноков.

- Так я и говорю, – вернулся наконец к прерванной мысли Локтюков. – Самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие, например, – тогда труднее всего найти.
- А ты своих спрашивал? – Надя имела в виду подростков из локтюковской секции.
- Они говорят: если б знали – сами привели.
- У меня до сих пор в голове не укладывается... – Быковская приложила пальцы к вискам. – Какими же негодяями нужно быть!
- Ты, Наденька, плохо психологию учила, – улыбнулся Олег. – Есть такое понятие – ролевое поведение. Возможно, наши налетчики окажутся образцовыми комсомольцами. Просто в пятницу после работы они взяли на себя роль хулиганов и хорошо ее исполнили. Шучу!
- Ничего себе роль! – пристукнул по столу каменной ладонью заведующий спортотделом. – Что-то непонятно...
- А что тут непонятного? Всякое бывает: человек может и в райкоме работать, руководить себе подобными, а вышел за порог – и уже совсем другая роль. Не бывает так разве?..
- Подожди, – начала Надя, – значит, одна сцена – райком, вторая – семья, третья...
- А если еще малые сцены считать! – улыбнулся Чесноков.
- Значит, везде роли? А где же сам ты? Что-то ведь в человеке всегда постоянно!..
- Не меняется роль, которую он придумал для себя. А обществу прежде всего важно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом – что ты при этом думаешь и чувствуешь.
- Интересно, а какую роль в таком случае исполняем мы?
- Лично я сейчас исполнял роль циника и тайного карьериста, – нашелся Олег, которому разговор уже перестал нравиться. – Как, ничего?
- Очень хорошо, как в жизни! – серьезно похвалил Локтюков.
- ...А Шумилин тем временем направился было в спортотдел, но задержался возле пропаганды. Стол Мухина мемориально пустовал. Хомич говорил с выступающим на слете печатником из типографии «Маяк». Шумилин мысленно пробежал глазами список ораторов и вспомнил, что зовут парня Сергей, а фамилия не то Полухин, не то Полунин.
- Как ты начнешь? – допытывался тем временем инструктор.
- Парень разводил руками.
- Начнешь ты, как все: «Товарищи!» – объяснял Валера и разборчиво записывал на листе бумаги. – Вы откликались на призыв хлопчатобумажного?
- А как же!
- Пишем: «...подхватив пламенный призыв комсомолии хлопчатобумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства...» Какие обязательства вы взяли?
- Выработку, значит, с одиннадцати до одиннадцати с половиной тысяч листов-оттисков в час довести, а экономия бумаги – одна тонна в квартал... А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели...
- Подожди! Про недостатки в конце скажешь. Пишем: «...тонна в квартал. Сегодня мы можем рапортовать слету, что...» Что мы можем рапортовать слету?
- Значит, выработка у нас теперь двенадцать тысяч листов-оттисков, а экономия – две тонны... А про ансамбль?
- Подожди-подожди! Пишем: «Две тонны в квартал. (Аплодисменты.)».
- Увидев первого секретаря, оба встали: инструктор по-аппаратному, нехотя, а печатник по-солдатски, резко, – наверное, недавно из армии пришел.
- Над выступлением работаем, Николай Петрович, – доложил Хомич.
- Вижу, Валера. Да ты садись. И ты, Сергей, садись! – разрешил краснопролетарский руководитель в традициях комсомола тридцатых годов, когда все – от секретаря ЦК до рядового члена ВЛКСМ – были на «ты».
- Так что у тебя все-таки с директором вышло – не поддержал?

– А то поддержал! – возмутился парень. – Как комсомольцы повышенные обязательства берут – так порядок, а как мы с просьбой какой-нибудь – так его нет! Вы бы, Николай Петрович, ему позвонили!

– Вот так, да? Позвоню.

...Возле сектора учета, как всегда, была очередь. Здесь вставали на учет, снимались с учета, выбывали из комсомола по возрасту. Девочки из сектора быстро находили в многотысячной картотеке рыжеватую картонку, ставили дату, штамп – и районная организация уменьшалась на одного человека, но тут же свои документы протягивал другой комсомолец – и среднее арифметическое торжествовало. Шумилин давно задумал разработать ритуал под названием «Прощание с комсомольским билетом». А то принимаем по возможности торжественно, прощаемся же с двадцативосьмилетними деловито, буднично, словно не с комсомольской молодостью они расстаются, не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку. «Разберусь с хулиганами, – пообещал себе Шумилин, – сядем с Ляшко и поднапряжем мозги».

В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда.

– А я как раз вас жду, – раскованно поздоровался освоившийся капитан.

– Тогда пойдемте ко мне, – пригласил Шумилин и по пути, пропустив Мансурова вперед, попросил Аллочку соединять только в экстренных случаях.

В кабинете он устроился за своим столом, на который в случае необходимости мог приземлиться небольшой самолет, и, предложив сесть гостю, поинтересовался, что новенького.

Оказалось, новенького пока ничего нет, но, по убеждению инспектора, скоро будет. Например, должен всплыть кубок спартакиады.

– А как вы думаете, Николай Петрович, – словно невзначай поинтересовался инспектор, – могли преступники залезть к вам в отместку за какую-нибудь несправедливость?

– В отместку? А за что мстить райкому?

– Ну мало ли что! Наказали строго или еще что-то.

– Н-не думаю... Да и строго наказывать, если честно говорить, мы разучились. Умеем понять людей.

– И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два.

– Как угодно. – Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Ляшко.

Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задерганная путаницей в картотеке.

– Ты что такая печальная? – спросил участливый руководитель.

– Да ну, Николай Петрович, нужно годовую сверку раздавать, а бланки еще не отпечатаны.

– А как с не снявшимися с учета?

– Как всегда, одни выпускники чего стоят! Вы скажите школьному отделу, чтобы занимались этим. У Комиссаровой одно приветствие в голове, а за цифры потом мне отвечать!

– Вот так, да? Скажу. И подбери, пожалуйста, для товарища Мансурова персональные дела за два года. Прямо сейчас подбери.

– Спасибо, – встал капитан, помедлил и, дождавшись, когда Ляшко выйдет из кабинета, снова уселся. – А знаете, Николай Петрович, я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь: никакая это не попытка совершения кражи! И если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озорство.

– Знаю. Но я озорство себе по-другому представляю...

– А я и говорю, что у вас случай особый.

– Для чего же тогда персональные дела?

– Обе версии нужно проверить, хотя, скорее всего, хулиганы просто выпили, увидели открытое окно и от нечего делать залезли...

– Погром тоже от нечего делать устроили?

– От безделья, Николай Петрович, и не такое натворить можно! Объясняю. Цепочка элементарная: безделье – выпивка – происшествие. Мальчишка вернулся с завода; рабочий день укороченный, в вечернюю школу его пока не запихнули, жены-детей нет, по дому помогать не приучен. Куда себя девать? Принял с таким же сопляком поллитра и начал выкаблучиваться, потому что ни пить не умеет, ни по-человечески отдыхать!

– Да, с досугом непросто, вы в нашей дискотеке были?

– Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете?

– Заглядываю, – уклончиво ответил Шумилин. – У нас программа интересная разработана, билеты мы через комитеты комсомола распространяем, постоянный пост дружинников там...

Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывался перед капитаном.

– Очень хорошо, – согласился Мансуров, – а вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для спекулянтов?

– Спекулянтов? Наша дискотека? У меня таких данных нет, – сухо ответил Шумилин.

– Объясняю: я не имел в виду конкретно вашу дискотеку, но в другом районе был случай, когда вокруг молодежного кафе кормилась целая группа подростков, занимавшихся перепродажей билетов. У них даже чуть ли не военизированная организация сложилась, с разделением обязанностей, со строгой дисциплиной, с единоначалием. А у главного клочка любопытная оказалась – Оберст... Вы понимаете?

– Понимаю... И про ту группу знаю. Этими вещами нужно серьезно заниматься!

– Мы-то со своей стороны занимаемся, а вот разными «оберстами» и празднующейся молодежью, товарищ первый секретарь, вам заниматься надо!

– А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен.

– По званию не подойду, – съязвил инспектор и встал. – Если будет что-то новое, я позвоню. Мои координаты у вас есть.

– Да, я переписал, – проверил Шумилин, перевернув листок календаря.

Мансуров ушел. Шумилин потер ладонями уставшее лицо, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать, механически пробегая текст глазами. Человек, чей росчерк обладает руководящей силой, относится к автографу серьезно и исполняет его с чувством ответственности, не допуская, чтобы по законам сомнительной науки графологии он менялся в зависимости от настроения. Вот и сейчас: любой сказал бы, что шумилинская подпись такая же, как всегда, – и лишь сам первый секретарь различал в своем росчерке некий новый оттенок. Растерянность, что ли?

## 10

– Аллочка, – сказал Шумилин вошедшей секретарше, – можешь меня со всеми соединять и перепечатай, пожалуйста, помеченные страницы. Правку мою разберешь?

Первая половина распоряжения была равносильна военному приказу о прекращении перемирия – на первого секретаря обрушился шквальный огонь телефонных звонков. Он отвечал, объяснял, оправдывался, уточнял, гарантировал, советовался, поздравлял, консультировал, сочувствовал, координировал, поучал, проверял, назначал, отменял, давал выволочку, почтительно слушал, жаловался на жизнь, обещал незамедлительно исправить, просил связаться с ним через несколько дней...

...Прежде всего Шумилина волновало положение дел со слетом. После вчерашних мер оно уже не казалось таким безнадежным. Кое-что сотрудники успели выправить, но по транспорту и аренде помещения звонить и договариваться пришлось самому. Квартальный запас обаяния и настойчивости он потратил, чтобы заполучить в президиум космонавта и знаменитого актера, а также чтобы выбить еще не попавший на афиши фильм. Потом прочитал и забраковал тексты готовых выступлений, разругался с Комиссаровой из-за пионерского приветствия. Сошлись на том, что Петя Коньшев постарается быстро обновить устаревшие стихи. Тот сначала отказывался, объясняя, что, мол, в душе он лирик, но несколько убедительных примеров из истории отечественной лирики сломили его сопротивление. Затем Шумилин связался с инспекцией по делам несовершеннолетних, где его хорошо знали, и обсудил случившееся. Потом он позвонил секретарю комитета ВЛКСМ пединститута, члену бюро райкома Сергею Заяшникову и попросил к поискам хулиганов подключить студентов, занимающихся подростками. Не успел Шумилин положить трубку, как к нему прорвался заместитель редактора «Комсомольца» Липарский, разбитной сорокалетний газетчик, уже, видимо, до пенсии застрявший в молодежной прессе. При встрече и по телефону они всегда разговаривали, как нежные друзья, хотя не только дружбы – даже приятельства между ними не было. Имелось, правда, другое обстоятельство: редакция располагалась в Краснопролетарском районе, поэтому все характеристики на журналистов шли через Шумилина. Таким образом, огромная сила, присущая комсомольской печати, прочно уравновешивалась могущественной резиновой печатью, которую первый секретарь периодически прикладывал к соответствующим документам.

– Порядок, старичок! – застрекотал Липарский. – Поставили в завтрашний номер. На первую полосу. Но скажи своему заворгу, чтобы он твои просьбы передавал не в последний момент – я не фокусник!

– Что поставили? – осторожно удивился первый секретарь, обшаривая закоулки памяти. – Ты извини – я в отпуске как-то отключился...

– Как что? Фотографию на четыре колонки!!! С подписью, как вы героически к слету готовитесь.

– А-а! Да-да! Спасибо! – сердечно поблагодарил Шумилин и волком взглянул на современно вошедшего в кабинет Чеснокова. – А когда же вы шелкнули? Без меня, что ли?

– В прошлом году, когда о вас фоторепортаж делали. Вспомнил?

– Но тогда же еще Кононенко вторым был.

– Старичок, не учи отца щи варить! На место Кононенко мои ребята твоего заворга, Чеснокова, клеили. Очень у него мордализация фотогеничная.

– Вот так, да? Спасибо.

– А у меня к тебе встречное «пожалуйста»: тут нашему пареньку нужно характеристику скоренько оформить. Прохлопал ушами, ну ты понимаешь.

– Сделаем.

– Спасибо, старичок! Читай завтрашний номер! Отбой – четыре нуля.

Чесноков терпеливо дожидался, пока начальство закончит разговор.

Шумилин бросил трубку и тяжело посмотрел на заворга:

– Какие ты еще просьбы от моего имени передавал? Может, скоро за меня бумаги подписывать начнешь?

– Если вторым возьмешь, придется подписывать, а снимок к слету не помешает, командир. Наоборот, разговоров будет меньше: у нас же фотография в газете как Доска почета... Ты когда-нибудь видел, чтобы групповой снимок очковтирателей или растратчиков печатали?

– Видел. Только про то, что они очковтиратели, потом стало известно.

– Ну вот! И вообще, Николай Петрович, в твоём положении эта фотография – находка, а ты вместо «спасибо»... Обижает!

– В каком таком положении?

– Только не надо своим ребятам... Весь райком говорит, что ты на место Шпартко уходишь!

– Я?.. Им что, делать больше нечего?!

– Они между делом говорят...

– Вот так-то вы слет и проговорили! Теперь слушай: через десять минут планерка. Сценарий готов?

– Обижаешь! И есть, Николай Петрович, одна обалденная идея. Представляешь, детдомовцы благодарят районный комсомол за заботу, а мы им вручаем большой золотой ключ. Из пенопласта.

– От чего?

– Что «отчего»?!

– Ключ, спрашиваю, от чего?

– От детдома! Там же почти все готово – одна отделка осталась. А ключ символический.

– Ладно, готовься к аппарату, – закончил разговор Шумилин и записал на календаре про ключ.

А Чесноков тем временем медленно дошел до двери, остановился и непривычно робким голосом спросил:

– Как там мои дела? Будут со мной решать?

– А что тебе не ясно? – ехидно ответил краснопролетарский руководитель. – Об этом весь райком говорит. Иди послушай.

Потом Шумилин просматривал сценарий и одновременно анализировал новую информацию. О том, что секретарь горкома комсомола Шпартко собирается уходить, он знал не первый месяц. Постоянно становились известны все новые и новые имена возможных преемников, теперь, значит, дошла очередь и до краснопролетарского руководителя. Есть такая уловка: когда на освободившееся или освобождающееся место хотят взять человека, которого вышестоящая организация наверняка не утвердит, то вокруг вакансии устраивают искусственную бурю (как в кино при помощи аэродинамической трубы). Громогласно предлагаются и отвергаются многочисленные претенденты – у одного не тот диплом, у другого – в семье неблагополучно, у третьего и диплом подходящий, и семья образцовая, но возраст неудачный (или слишком молод, или слишком стар), у четвертого... И так далее. Наконец вышестоящие товарищи не выдерживают и сердито одергивают: «Решите вы свой кадровый вопрос или нет?!» Вот тут-то, как засадный полк из дубравы, на поле битвы врывается тот, кого хотят взять. У него и диплом подкачал, и семьи нет, и возраст изумляющий, и еще что-нибудь, но именно его, потеряв терпение, утверждают наверху. Видно, кандидатура Шумилина – очередной порыв этой аэродинамической бури, а может быть, и нет... «Весь райком говорит...» Ничего удивительного! Если человечество в целом волнуют проблемы: кто мы? откуда мы? куда мы? – то основной вопрос, беспокоящий аппаратчиков: кто, куда, почему и как уходит? Причем существует строго разработанная, очень гибкая и, конечно, неофициальная система оценок, квалифицирующая перемещения сотрудников. Так, уйти из инструкторов райкома в инструкторы горкома – неплохо; из заведующих отделом райкома в инструкторы горкома – хуже; вернуться затем из горкома секретарем райкома – хорошо: самостоятельная должность; а вот перейти с рядовой должности из аппарата райкома или горкома на некомсомольскую работу, скажем в профсоюзы, – плохо, преждевременно (еще не набраны инерция и авторитет). Но поглядите: какой-то чудаковатый ушел с должности заведующего отделом райкома на место освобожденного секретаря завода. «Все правильно, – объяснит специалист. – Он через год-два вернется первым секретарем!» И точно!

Дождаясь, пока соберется аппарат, Шумилин думал и о Чеснокове. Возможность перешагнуть из заворгов во вторые секретари случается редко, так что, можно сказать, сейчас реша-

ется судьба Олега. Конечно, последнее слово всегда остается за райкомом партии, но есть ведь и первое слово, а оно за Шумилиным, не торопящимся произнести его.

Да, Чесноков – работающий, энергичный, напористый парень, немного – для равновесия – изображающий из себя разгильдяя. Да, он справится, не подведет, не сорвет работу, ему дорого дело, но не потому, что это – дело, которому он служит, а потому, что это – дело, которое служит ему. Чесноков не халтурит, как Мухин, честно вкладывает в работу силы, ум, нервы, время, честно рассчитывая на будущую прибыль в виде ответственной и престижной должности, большой зарплаты, положения... Комсомол для Олега не возраст и не судьба, а ступенька некоего жизненного эскалатора, который и сам по себе движется, а если еще по нему побежать!..

Итак, взять вторым Олега – дать, говоря грубо, ход честному карьеристу. Не брать – неизвестно еще, кого пришлют. Упаси бог внешнеторгового мечтателя вроде Мухина! А если все-таки поговорить с Бутениным? Но пока он освоится, с ним намучишься: аппаратной работе, как музыке, нужно учиться, а то некоторые считают, будто можно усесться за начальственный стол и с ходу сбацать фортепьянный концерт. Люди потом в себя годами приходят.

Аппарат был в сборе. Опустевший стеллаж, отметил про себя Шумилин, уже начал заполняться: появилось несколько красиво оформленных рапортов слету, с полки стартовала очередная плексигласовая ракета. Шумилин дотошно проверил по позициям, как идет подготовка. Затем был прочитан и общими усилиями откорректирован подробный поминутный план-сценарий. Был создан штаб слета во главе с Чесноковым. Неожиданно выяснилось: не на что покупать цветы и бутерброды для президиума, и краснопролетарский руководитель попросил зайти к нему после аппарата Волковчук, которая при этих словах тяжело вздохнула в предчувствии нарушения финансовой дисциплины. Потом Шумилин еще раз проинструктировал, как работать с выступающими.

– Главное, чтобы они говорили дельно, а потом уже складно. Пока у меня такое ощущение, будто все выступления, как в анекдоте, брали из одной бочки...

И, уже распуская сотрудников на обед, поинтересовался: где же все-таки Мухин?

– На бюллетене, – хором ответили ребята.

В столовой, выстояв небольшую очередь, Шумилин оставил поднос тарелками. Вежливо кивая знакомым работникам райкома партии и исполкома, поискал глазами свободное место, нашел и стал осторожно пробираться между столами.

За последнее время здесь утвердился обычай есть по-европейски, не снимая тарелки с подноса. Сидящие напротив две секретарши-машинистки обсуждали какое-то страшное убийство на почве ревности. Теряя аппетит и ощущая, как к сердцу, пульсируя, приливает тревога, он вслушался и наконец понял, что речь идет о новом западном фильме.

Столовая была отделана очень уютно и, чтобы не выводить аппаратчиков из рабочего состояния, как бы имитировала кабинетную систему: столики обособлялись один от другого декоративными перегородочками. По стенам размещалась чеканка на гастрономические сюжеты. Из-за ближней перегородки, как, впрочем, и отовсюду, доносились знакомые голоса, но Шумилин не обращал на них внимания, пока не услышал свою фамилию.

– Первый не дурак! – утверждал бойкий голос скромняги Хомича. – Он пойдет только в Новый дом.

– Я бы на его месте пошел на место Шпартко, – не соглашался Гольдман.

– Ты сначала окажись на его месте! – съязвила Рахматуллина. – Помнишь, Базлов в горком пошел? Где он теперь?

– Базлов не справился, а Шумилин – мужик толковый, он далеко двинет!

– Никуда он теперь не двинет, – встрял голос Милы Смирновой. – Папа говорит, что после случая с хулиганами ему нужно скоренько возвращаться в свою аспирантуру...

– Ерунда! – возразил Гольдман. – Людей на злоупотреблениях накрывают и то без понижения переводят. Конечно, история неприятная, но первый-то здесь при чем? Он вообще в отпуске был.

– Папа говорит, что человека легче всего съесть, когда он болеет или в отпуске.

– Твой папа говорит прямо как Евгений Шварц!

– Почему Шварц? Какой Шварц? Чего вы смеетесь?

– Просто так, – объяснила Рахматуллина. – И хватит вам делить шкуру неубитого Шумилина, меня больше волнует, кто вторым будет.

– Как кто? Чесноков! – убежденно ответил Гольдман. – Он от первого не вылезает, в горкоме трется, в Новый дом все время советоваться бегаёт. Он и будет!

– Чесноков переактивничал и вторым не будет! – с раскованностью сотрудника другого отдела сообщил Хомич. – Человек придет из горкома. Скорее всего – Фолинский.

– Почему?! – хором спросили остальные.

– Вы по фамилии догадаетесь или на пальцах объяснить нужно?

– А-а-а!

Фолинского настойчиво рекомендовали на место Кононенко, но Шумилин наотрез отказался. «Все, черти, знают, – думал он, допивая компот из черной смородины. – Когда до них про мои семейные дела дойдет, можно на неделю райком закрывать из-за разговоров. Интересно, что папаша этой балерины скажет? Здорово они ее со Шварцем приложили...»

Шумилин отнес грязную посуду на мойку и, уже направляясь к выходу, специально прошел мимо спорщиков, те оборвали разговор и уставились на первого усталыми, но преданными глазами.

На улице Ашот обольщал статную милиционершу и появление начальника воспринял с легким раздражением.

– В горком едем? – уточнил он.

– Откуда ты знаешь?

– Я не знаю. Я чувствую.

Первого секретаря горкома ВЛКСМ на месте не было: он с делегацией творческой молодежи улетел в ГДР. Второй секретарь что-то где-то кому-то вручал и обещал быть к вечеру. Шумилин решил заглянуть к секретарю по промышленности Околоткову, которого знал еще первым секретарем соседнего райкома. Два года назад они встречались на совещаниях и выездных учениях, выручали друг друга в сложных ситуациях, даже как-то обменялись семейными визитами. Потом Околоткова после удачного выступления на пленуме выдвинули в секретари горкома, и дружить домами ему приходилось теперь на новом уровне, но он остался тем же простым парнем и при встрече с таким же наигранным размахом лупил по протянутой руке, однако научился говорить медленнее, раздумчивее, весомее, реже обещал помочь и чаще ссылался на необходимость посоветоваться.

Шумилина он поприветствовал, выйдя из-за стола и сказав, что отпускник загорел, как негр, выглядит, как актер с неприличной фамилией Бельмондо, что вообще краснопролетарцы – молодцы и он очень сожалеет о досадном происшествии.

– Понимаешь, Коля, – Околотков закурил, задумчиво затянулся и стал похож на учителя жизни, – страшного, конечно, ничего нет, но разговоры пошли – и это плохо!

– А как первый отреагировал?

– Первый к тебе хорошо относится и сказал, что все это – неприятное недоразумение. А если начистоту... – с приливом хорошо продуманной откровенности сообщил Околотков, – Шпартко почти ушел. На его место несколько кандидатур, но твоя, по-моему, самая реальная! Ты и у нас в аппарате был, и на самостоятельной работе почти четыре года. Район – один из лучших. Первый по возвращении, я знаю, хочет с тобой поговорить, а прилетает он сегодня

ночью. И мой тебе дружеский совет: ты с хулиганами разберись, но спокойно; самокритично, но без истерики, а то у тебя, я замечал, склонность к самобичеванию имеется. Во-вторых, слет нужно провести по гамбургскому счету! И уж нашу просьбу как следует выполнить!

Речь шла об изготовлении блокнотов с тиснением для участников общегородского слета.

– Уже в работе!

– Молодец! Обо всем сразу звони – посоветуемся.

Шумилин вышел из кабинета, сунул хронически улыбающейся секретарше фирменный календарик НИИТД и начал традиционный обход горкома. Смысл этого обхода можно выразить словами: «А вот и я! Я всех помню и совершенно не теряю голову из-за того, что первый в районе. Город есть город!»

Краснопролетарский руководитель шел из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, делился новостями, выслушивал новости или просто перекидывался шуткой, попутно решал вопросы, заручался поддержкой, снимал напряжение, сам в свою очередь обещал в чем-то помочь.

– Какие люди! – приветствовали его на очередном пороге.

– Такой человек и без охраны! – улыбались в другом кабинете.

Спускаясь по лестнице к выходу, он лицом к лицу столкнулся с пресловутым Шпартко. Грузный, лысеющий, явно пересидевший на комсомольской работе, тот тяжело поднимался к себе в кабинет и, судя по тому, как обстоятельно принялся расспрашивать о жизни, о семье, чего раньше за ним не водилось, – в самом деле собрался уходить. Приznak безошибочный!

У Шумилина было важное преимущество: несмотря на то что в район он ушел почти четыре года назад, в горкоме его не переставали считать своим – «наши кадры!» – и краснопролетарский руководитель умело пользовался выгодной двойственностью. И этим тоже нередко объяснялись первые места, грамоты, переходящие вымпелы и прочие знаки отличия. Кроме того, исторически сложилось так, что в горкоме комсомола скопилось немало выходцев из Краснопролетарского райкома. Сам первый секретарь, хоть и пришел из другого РК, в свое время окончил тот же пединститут. А Шумилин еще по армии знал, какая могучая сила – чувство землячества.

Задумавшись, он вышел на улицу и, подойдя к пустой машине, огляделся: Ашот, неприужденно облокотившись о стену, охмурил выбежавшую в соседнее здание околотковскую секретаршу. В руках он держал бумажку с телефоном, и это не оставляло ни малейшего сомнения в дальнейшей судьбе девушки. Увидев начальника, водитель кивнул, что можно было понять и так: заводи, сейчас поедем. Наконец, договорившись и потрепав секретаршу по мордашке, Ашот подошел к «Волге», открыл двери, сел и сладострастно воткнул ключ зажигания...

## 11

Ашот довез начальство до ворот майонезного завода и был отпущен до завтра. Шумилин открыл липкую дверь проходной и сразу же почувствовал тяжелый, жирный запах – достопримечательность местного производства. На пороге его встречала заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода Валя Нефедьева – плечистая лимитчица с неторопливыми движениями и плавной деревенской речью. Пройдет несколько лет, и она станет настоящей горожанкой, резкой, нервной, стремительной, прошедшей огонь магазинных очередей и общественного транспорта, ледяную воду равнодушия положительных холостых мужчин и медные трубы уважения заводской администрации – вплоть до фотографии на Доске почета и однокомнатной квартиры с окнами на Окружную дорогу. Но это случится не скоро, а сейчас Валя боязливо, но твердо пожала руку первого секретаря и робко спросила: «Пойдемте, что ли?»

В маленьком заводском клубе, где на люстрах еще заметишь остатки новогоднего серпантина, все было готово к началу: на сцене стояли накрытый зеленым стол и старинная, много чего слышавшая на своем веку трибуна. На стенах размещались схемы, диаграммы и фотомон-

тажи... Из черного, похожего на футляр аккордеона усилителя доносилась некогда знаменитая светловская «Комсомольская песня»:

*И глубь земли, и ширь небесных странствий  
Ты на высокой скорости пройдешь,  
И скажет космос: «Кончилось пространство,  
Куда еще ты, комсомолец, прешь?»  
Постой, постой, ты комсомолец? – Да!  
Давай не расставаться никогда!  
На белом свете парня лучше нет,  
Чем комсомол шестидесятых лет.*

По залу между рядами, хлопая откидными сиденьями, с отчетным докладом в руках метался секретарь комитета ВЛКСМ Борис Ноздряков – худой, жидковолосый парень. Постепенно прибывали комсомольцы, и он, подсакивая то к одному, то к другому, совал испитые бумажки, объяснял что-то на ухо. За происходящим – подергиваясь в ритме песни – философски наблюдал Цимбалюк, инструктор, ведущий в орготделе промышленность. Спокойный, следящий за собой, модно (в рамках аппаратных приличий) одевающийся, он относился к работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие. Но заметив начальство, инструктор молниеносно «ушел в народ», по-свойски внедрившись в кучку разговаривающих комсомольцев. Ноздряков же, улыбаясь разнокалиберными зубами, пошел навстречу высокому гостю.

– Поздравляю с праздником! – прояснил лицом первый секретарь и пожал влажную руку волнующегося Ноздрякова.

Не успели они разговориться, как появились приглашенные на собрание – главный инженер завода Головки (директор уехал в министерство), секретарь партийного комитета Лешутин и известная на весь район ударница Старикова. Широко, по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал: как, мол, комсомол, не подводит?

– Да как вам сказать? – с шутливой загадочностью отвечал Лешутин и лукаво поглядывал на смущенного комсорга. – Скорее нет, чем да...

Майонезный завод – маленький, в районе неприметный, и визит первого секретаря был неожиданностью, значившей для местного руководства немало.

– Если б вы заранее предупредили, директор не поехал бы на совещание. Он у нас комсомол любит! – монотонно сокрушался Головки – человек с гладким неподвижным лицом и масляным пробормом.

Зал стал заполняться. В первом ряду на краешках кресел сидел, ожидая приглашения, будущий президиум.

– Внимание! – призвал Ноздряков в потрескивающий микрофон. – Внимание! На учете в нашей организации состоит шестьдесят три человека. Присутствуют... – он обвел глазами десятка три комсомольцев, островками рассеявшихся по залу, – присутствуют пятьдесят четыре. Десять отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения?

– Начать собрание! – крикнули из зала.

– Поступило предложение начать собрание. Ставим на голосование. Кто – за? Против? Воздержался? Единогласно! Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут предложения? – спросил Ноздряков и выжидательно уставился на хорошенькую девушку в третьем ряду.

Та сразу вскочила и, уткнув носик в бумажку, звонко зачатила:

– Предлагаю избрать президиум в следующем составе: главный инженер товарищ Головки, секретарь партийного комитета товарищ Лешутин, ударница коммунистического

труда кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Старикова, инструктор райкома комсомола товарищ Цимбалюк, секретарь бюро ВЛКСМ гаража Саша Яковлев. Председателем собрания предлагаю Валю Нефедьеву...

– Товарищи! – взмолился оплошавший Ноздряков. – Нам выпала большая честь – на собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин!

Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум проследовал на сцену, вокруг стола произошло вежливое замешательство, наконец, после того как из зала принесли недостающий стул, все расселись.

– Товарищи, – легко окая, начала Валя. – Есть предложение утвердить повестку дня: отчетный доклад, выступления в прениях, выборы нового состава комитета ВЛКСМ, разное. Какие будут дополнения? Голосуем. Единогласно! А теперь слово для отчетного доклада...

– Регламент! – страшно прошептал Ноздряков.

– Ой... Ну да... – испугалась Нефедьева и заглянула в шпаргалку. – Товарищи, для ведения собрания нам необходимо установить регламент. Докладчик просит сорок минут. – Сдержанное негодование в зале. – Выступление в прениях – десять минут. Закончить работу в течение двух часов.

Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков.

Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, трясая от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал:

– Товарищи! Победным шагом идет комсомол...

Шумилина охватило привычное президиумное оцепенение. Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, а раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся Цимбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет, с руководством, особенно с главным инженером, ладит. Лешутин его, правда, недолюбливает...

Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головка затвердел и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию: мол, если хочешь погубить хорошее дело – поручи его комсомолу. Старикова добродушно разглядывала молодежь уставшими глазами. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности.

Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались ничего не значащими руководящими репликами: «Хорошо сказал!», «Они вообще у нас ребята неплохие...». Лешутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал: первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах ребят была давняя, загустевшая тоска. Дальше – легче: судя по ритмично ходившим плечам, некоторые девушки вязали, заочники трудились, положив тетрадки на колени, временами отрывались от писанины и пристально вглядывались в докладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли силясь что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном; несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в карты.

А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомолии майонезного завода со сдержанным трагизмом перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недостатки Ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета ВЛКСМ. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффектно вплавил в заключитель-

ную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнившей Шумилину пляжную кабинку для переодевания.

– Какие вопросы к докладчику? – поинтересовалась Валя.

Собрание единогласно промолчало.

– Переходим к прениям, – решительно продолжила Нефедьева.

– Редакционная комиссия! – плачущим голосом подсказал Ноздряков...

– Ой... Ну да... Товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения?

Комсомол безмолвствовал.

– Осипов, у тебя же было предложение! – все-таки установил контакт с залом Ноздряков.

– Да. Было, – опомнился здоровенный парень и, вскочив, стал шарить по карманам. – Вот! Значит, так: Яковлев – председатель, Полторак и Салуквадзе – члены...

– Голосуем! – призвала Валя. – Единогласно. Комиссия, можете приступать к работе.

Обрадованные члены редколлегии вскочили с места и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы выпить минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода.

Потянулись томительные прения, произошедшие, как подумал Шумилин, от слова «преть». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полужнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения – все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кобанков: звонким, хорошо поставленным голосом самодеятельного артиста он с чувством говорил о заводе, о своих товарищах и наставниках, обкатывая будущее выступление на слете. На патетической ноте закончив речь, Кобанков по-своему переглянулся с районным руководством: мол, не первый год на этой работе!

Краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головки и Лешутин, они призовут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей; секретарь парткома, может быть, иронично пожурит безынициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомольней и ее скромным, но достойным отрядом – молодежью майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что коль скоро майонезцы первыми в районе проводят отчетно-выборное собрание, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди! Затем проголосуют за прекращение прений, и Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу и сразу же – в целом, и в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуввав близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и «Комсомольского прожектора». Нефедьева сообщит, что повестка дня исчерпана, поступит восторженное предложение закрыть собрание. Голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку. Оплосав в последний раз, забывчивая Валя крикнет им вдогонку объявления. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова.

Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, «незадействованность» зала.

Терпение краснопролетарского руководителя лопнуло, когда он увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит, уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец.

– Где? А-а... Бареев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел... Сейчас разбужу!

И когда на трибуне сменялись выступающие, майонезный лидер громко и ядовито заметил:

– Бареев, спать нужно дома, а не на собрании!

Наладчик вскинулся, обвел зал красными, непроснувшимися глазами, опомнился наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякову успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество.

– Стыдно, Бареев! – возвысил он карающий голос. – Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно!

– Ну хватит уже, – раздражаясь, огрызнулся парень.

– Ладно, садись. Мы потом с тобой поговорим!

– Почему же это потом? – вдруг резко спросил Бареев, и первый секретарь заметил, что у него по-хорошему упрямое лицо. – А мне не стыдно! Я третьи сутки с линией колупаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых – все равно бы на вашем собрании заснул! Это – трепология какая-то, а не собрание!

Зал очнулся.

Головко забыл про терзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лешутин подался вперед. Шумилин почувствовал спиной, как похолодел Цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь.

– Отчетный доклад, – кипел наладчик, – фигня! «Мы подхватим! Мы оправдаем! Мы еще выше поднимем!..» Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Ноздряков целый день по залам бегал, кудахтал: из райкома приедут, из райкома приедут! Вот и хорошо, что приехали, – пусть послушают. У нас половина молодежи в общаге живет, прямо за воротами. Занимается комитет общагой? Не занимается. Про совет общежития, в котором я сам якобы состою, только здесь на собрании и услышал. Нам три тысячи на спорт выделено, а завком на эти деньги уже который год новогодние вечера устраивает. А в результате получается: ребята у нас работают, пока прописку не получают...

– Правильно! Крышу в общаге почините! – вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались карты. – Дайте мне сказать!..

И тут началось.

– Веди собрание! – сквозь шум голосов прокричал Вале посеревший Ноздряков.

– Сам веди! – огрызнулась она.

– Да они как с цепи сорвались! – с возмущением повернулся к секретарю парткома Головко.

– Не буди лихо... – усмехнулся Лешутин.

## 12

Собрание закончилось, и разгоряченные комсомольцы нехотя разошлись. В зале остались только заводские руководители, Шумилин и новый комитет ВЛКСМ, в котором начисто отсутствовал согласованный во всех инстанциях Ноздряков, но зато наличествовал красноречивый наладчик, сам не ожидавший такого оборота, от изумления он прочно замолчал – тем более что ребята предлагали в секретари именно его. Но лидера так и не выбрали, Головко решительно заявил: кандидатуру сначала необходимо обговорить с директором.

Когда стали прощаться, первому секретарю, словно заезжей знаменитости, вручили гвоздики, украшавшие стол президиума, но он тут же передал их букет засмущенной Вале Нефедевой.

У самой проходной его догнал Цимбалюк.

– Николай Петрович! – задыхаясь, проговорил он. – Цветы забыли! Просили передать...

– Со второй попытки, значит... Мне их уже один раз вручали.

- Я не видел. Я Ноздрякова успокаивал.
- Переживает?
- Не понимает!
- А ты сам-то понимаешь?
- Естественно. Нужно было Бареева заранее в список выступающих включить.
- Вот так, да? Или просто не будить.

Цимбалюк вдумчиво улыбнулся, показывая, что юмор начальства оценен, и поинтересовался:

- А кто будет секретарем? В кадровом резерве у нас Нефедьева.
- Народ хочет Бареева.
- Головка никогда не согласится!
- Слава богу, Витя, не все в жизни зависит от Головки. А Бареев эту майонезную комсомолию расшевелит! Хотя, конечно, незапланированная смена – маленькое, но ЧП...
- Николай Петрович, а не много ли у нас ЧП?
- Для спокойной жизни многовато, но ведь покой нам только снится! А?
- Естественно! – согласился инструктор, которому покой был прекрасно знаком не только по сновидениям.

Отпустив Цимбалюка домой и обнаружив, что в райком возвращаться уже поздно, первый секретарь стал медленно пробираться сквозь вечернюю уличную толчею, ощущая то беспокойное недоумение, какое нападает на очень занятых людей в минуты внезапной праздности.

Нависая над остановкой, большие квадратные часы показывали одной стороной циферблата 19.41, а другой – 19.58. «Очень удобное место для свиданий!» – решил краснопролетарский руководитель и, запихнув цветы в «дипломат», втиснулся в троллейбус. Пристроив кейс между поручнем и задним стеклом, он разглядывал автомобили, обгонявшие его электрический дилижанс; снаружи пошел редкий дождь, и «дворники» вылизывали на ветровых стеклах удивленные полукружья.

...С Таней он познакомился полгода назад. Однажды днем она позвонила в дверь его квартиры, решительно вошла, сбросила ему на руки пальто, одернула стянутый в талии белый халат и спросила: «Где больной?» А узнав, что пациент перед ней, удивленно пожала плечами: мол, если вы такой галантный, могли бы и сами прийти на прием.

- Ложитесь. Я вымою руки, – распорядилась она. – Где ванная?

Но Шумилин при виде молодой светловолосой докторши, пришедшей по вызову вместо старенькой Фриды Семеновны и смотревшей на него строгими темными глазами, молча показал куда-то в сторону кухни. Гостья пожала плечами и сама направилась в ванную, благо в нынешних квартирах не заблудишься.

Больной улегся на диван, а врач, с интересом скользнув по корешкам секретарской библиотеки, приставила холодный стетоскоп, сосредоточенно сжала губы и принялась выслушивать, что же случилось с материально-технической базой этого рассеянного мужчины. Когда диагноз – ОРЗ – был поставлен и она стала выписывать рецепты, Шумилин обратил внимание: обручальное кольцо у нее на левой руке. «Или заранее купила (так делают), или в разводе!» – определил он.

- Где вы работаете? – спросила докторша, заполняя больничный лист.
- В Краснопролетарском райкоме комсомола.
- Кем? – с чуть заметной иронией уточнила она.
- Секретарем...

Еще начиная свою общественную деятельность, краснопролетарский руководитель заметил: люди так называемых жизненно важных профессий, медики к примеру, на комсомольских

работников смотрят как-то свысока – мол, взрослые люди, а несерьезными вещами занимаетесь! Другое дело мы: держим человеческую жизнь на кончике шприца!

Закончив писать, врач резко встала, еще раз одернула халат, надетый поверх джинсов и черного свитера, коротко объяснила, как нужно принимать лекарства, и посоветовала меньше ходить. Но больной тем не менее поплелся провожать и, подавая в прихожей пальто, наконец решился:

- Простите, а что с Фридой Семеновной?
- Фрида Семеновна на пенсии. Теперь у вас буду я.
- Вот так, да? А как вас зовут?
- Зовут меня Татьяна Андреевна Хромова. До свидания, выздоравливайте...

И она ушла, оставив в квартире будоражащие флюиды красивой и уверенной в себе женщины, а Шумилин вздохнул, порылся на полках и, завалившись, как предписано, в постель, стал перечитывать ахматовский «Вечер».

Через неделю, собираясь в поликлинику выписываться, он так долго выбирал галстук, что Галя (они тогда доживали вместе последние дни) хмыкнула и сказала: настоящий мужчина нравится женщине и без галстука, но раз дело зашло так далеко, то за появившуюся у него пассивность муж должен: во-первых, приклеить отломанную ножку к детскому столику, во-вторых, посадить на раствор отвалившуюся в ванной плитку, в-третьих, выдать сумму на приобретение французских духов, а еще лучше – достать их через секретаря комитета комсомола Краснопролетарского универмага. «Это программа-минимум, над программой-максимум я подумаю», – пообещала она. Как многие люди, не обладающие проницательностью, Галя имела талант предвидения.

Однако галстук не помог.

Татьяна Андреевна узнала пациента, дружелюбно поздоровалась, привычно осмотрела и несколькими росчерками пера вернула его к активной трудовой деятельности. Шумилин вышел из ее кабинета с закрытым бюллетенем в руках и чувством незавершенности в душе. Направляясь домой, он еще строил хитроумные планы продолжения знакомства, но на следующий день приступил к работе, завертелся – и образ нового участкового врача переселился в ту область памяти, которая ведаёт приятными мимолетными встречами.

Но вот как-то раз, делая традиционный вечерний рейд по коридорам райкома, первый секретарь услышал совершенно обыкновенный разговор. Тамара Рахматуллина, курирующая в орготделе медицинские учреждения, с монотонным раздражением объясняла:

– Сверьте список в секторе учета. У вас в ведомости пятьдесят человек, а по картотеке сорок девять.

– Если бы мы недоплачивали, а то ведь переплачиваем, – кротко оправдывалась попавшая в непривычную ситуацию решительная Татьяна Андреевна Хромова.

– А я вам говорю: сверьте! Переплата – такое же нарушение, как и недоплата.

– Простите, но я не знаю, как сверять. Меня просто попросили завезти ведомость – я живу недалеко.

– А где ваш секретарь?

– У нее прием сейчас, а вы обещали главврачу позвонить, если не привезем...

– И позвоню.

– Ну и звоните, – разозлилась докторша и, повернувшись к двери, увидела Шумилина.

Она хотела было пожаловаться, но запнулась (врачи редко помнят имена пациентов) и только пожала плечами: мол, сами видите, что получается.

– Здравствуйте, Татьяна Андреевна! – обрадовался он. – Комсомольское поручение выполняете?

– Пытаюсь.

Тамара тем временем молча взяла со стола ведомость и с сознанием неудовлетворенной правоты сама отправилась в сектор учета.

– На будущее, пусть взносы все-таки привозят те, кому положено. Передайте, пожалуйста, своему секретарю, – мягко попросил бывший больной и тут же уточнил: – Значит, вы рядом живете?

– Да, в Балакиревском переулке.

– Мы почти соседи. Если вы сейчас домой, нам по пути! – предложил Шумилин и пожалел, что отпустил Ашота. – Мне нужно только взять портфель. Пойдемте, посмотрите, как я тут устроился.

И краснопролетарский руководитель повел ее в приемную с законной гордостью человека, которому доверена большая должность и еще больший кабинет.

Позже, по дороге к дому, испытывая острый дефицит тем для разговора, он поинтересовался, почему его новая знакомая носит обручальное кольцо на левой руке, не католичка ли она? Таня некоторое время внимательно разглядывала асфальт под ногами, потом чему-то про себя улыбнулась и спокойно объяснила: два года назад разошлась с мужем, у нее сын – и перевела разговор на шумилинскую работу.

Шумилин проводил ее до подъезда и заверил, что если теперь заболит, то к врачам обращаться не станет; она ответила что-то в том же духе и, прощаясь, академично, как принято у медиков, назвала его по имени-отчеству. Но Николай Петрович, доказывая, что Татьяна Андреевна хоть врач, но одновременно и комсомолка, предлагал отчества отбросить.

Грехопадение состоялось на очередной комсомольской учебе, куда Шумилин под видом активистки вывез и Таню. Обычно такие «учебные» романы заканчивались у него в тот момент, когда автобус с разгулявшимся активом пересекал Окружную дорогу и въезжал в столицу. Но в этот раз все вышло по-другому. Встречались они на квартире холостого шумилинского приятеля, который при их появлении однообразно хлопал себя по лбу, вспоминая внезапно о каком-нибудь срочном деле, и убегал, незаметно уточнив, сколько ему придется болтаться по улице, а также предупредив, что в ванне у него замочено белье. Остается добавить, что свои отношения они любовью не называли и, встречаясь, обсуждали все что угодно, даже здоровье и проказы детей, но перспективы совместной жизни – никогда...

...Вдохнув продезинфицированный воздух поликлиники, Шумилин неожиданно почувствовал, как разом исчезли все неприятные симптомы. «Сильна родная медицина!» – недоумевал он, заказывая в регистратуре свою карточку. Прием шел к концу, и очереди совсем не было.

Краснопролетарский руководитель заглянул в комнату: Таня склонилась над столом и, накручивая на палец челку, быстро заполняла пухлую, с многочисленными вклейками и вкладышами, историю болезни. «Вот уж книга судеб!» – грустно подумал Шумилин.

Таня подняла глаза на вошедшего и улыбнулась:

– Ты? Загорел...

– Только не говори, что поправился. Сейчас, когда хотят сделать комплимент, говорят: похудел.

Она оперлась щекой на руку, еще раз внимательно посмотрела на него и добавила:

– Волосы выгорели... А почему не позвонил? Что-нибудь случилось?

А ему стало вдруг неловко пересказывать свои хвори, но делать было нечего, и он, по возможности с юмором, поведал про то, как, бороздя черноморские воды, чуть не потерпел аварию и не затонул во цвете лет и как после этого его начали посещать не очень-то приятные ощущения. «Умоляю спасти!» – закончил он. Но Таня не разделяла веселья: по ее словам, сначала, видимо, у него было обычное кислородное голодание от длительного пребывания под водой, но потом он сильно испугался, а это уже нервный срыв, хотя, по правде сказать, ничего страшного.

– Жить буду – петь никогда! – неожиданно для себя повторил Шумилин одну из чесноковских прибауток.

– Петь можно, а вот нервничать нужно меньше, полнее отключаться от работы и ни в коем случае не фиксироваться на неприятных ощущениях. Да еще и отдыхать мы не умеем! – вздохнула Таня.

– Вот так, да? А как нужно отдыхать?

– Это индивидуально: одному нужна тишина, а другому – музыка, шум...

– Музыка? Хорошо. Я приглашаю тебя в дискотеку – будем отдыхать!

– Ты знаешь, сегодня...

– Нужно отключаться.

– Усвоил! А тебе-то можно в дискотеку? Со мной...

– Необходимо!

– Ну хорошо. Только я маме позвоню, чтоб Тишку из сада забрала... А может, все-таки в другой раз?

Но Шумилин уже доставал из кейса гвоздики.

### 13

Молодежное кафе «Черемуха», при котором два года назад открылась дискотека, занимало нижний этаж хорошо отремонтированного старого дома и сияло на всю улицу витражными окнами. Дискотека была первой крупной акцией Шумилина в Краснопролетарском районе. «Хотим дискотеку!» – заявили комсомольцы на отчетно-выборной конференции. «Сделаем!» – самонадеянно пообещал неопытный первый секретарь и потом не раз жалел.

Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи, но попробуй выбить деньги, получить и отремонтировать помещение, купить аппаратуру. Самое трудное заключалось в том, что никто не отказывался помочь, понимая важность райкомовского начинания, но в этом доброжелательном равнодушии дело вязло, как грузовик в трясине. А тягач на весь районный комсомол один – первый секретарь.

Шумилин постоянно «напрягал» Ковалевского, теребил горком, сам ездил в область выпрашивать на никому не известном заводике мраморную плитку для облицовки, организовывал субботники и воскресники, выбивал в торге хорошую электронику, на общественных началах приглашал знаменитых дизайнеров, а про то, как добыл стекло для зеркального потолка, можно написать фантастический роман с авантюрным сюжетом! Наконец почти через два года после обещания первый секретарь обыкновенными канцелярскими ножницами разрезал алую ленточку, произнес речь, а вечером посмотрел себя по телевизору в городских новостях и убедился, что людям свойственно переоценивать собственную внешность.

Еще несколько недель он вздрагивал при слове «дискотека», но потом новое стихийное бедствие обрушилось на него: начали расширять районный музей истории комсомола и пионерии. О том, что дискотека живет и трудится на благо молодежи, Шумилин помнил: отдел пропаганды принимал участие в подготовке тематических программ, билеты распространялись через комитеты комсомола, в дискотеке дежурили дружинники.

Иногда райком на один вечер абонировал всю «Черемуху» и устраивал аппаратные торжества. Скажем, по поводу успешного проведения отчетно-выборной конференции или Восьмого марта. И тогда, привычно встав на председательское место, будто бы ведя очередное заседание, краснопролетарский руководитель с рюмкой в руке давал краткий застольный очерк достигнутого, признавал недостатки, высвечивал перспективу. Без политически грамотного, мобилизующего и вдохновляющего тоста комсомол бражничать не привык! В комсомоле, как известно, работают не только головой, но и печенью. А потом, охваченные хоровым восторгом, аппаратчики запевали любимых «Добровольцев» – в собственном, районном варианте:

*Комсомольцы, пролетарцы —  
Мы сильны нашей верною дружбой...*

Случалось, Шумилин заглядывал в дискотеку и для проверок, о которых заранее откуда-то все узнавали, но до разговора с инспектором первому секретарю как-то не приходило в голову явиться в «Черемуху» обычным посетителем и насладиться плодами своих же трудов: во-первых, времени постоянно не хватало, а во-вторых, и возраст вроде бы уже не дискотечный.

Возле дискотеки стояла длинная очередь безбилетников – человек сорок. У последних двадцати шансов попасть сегодня в кафе не было, но уж лучше, считали они, провести свободное время в дружественной очереди, чем нигде. Юноши выглядели по-разному: кое-кто натянул свитерок прямо на форменные школьные брюки, зато девушки как одна были модно, даже дорого одеты – и Шумилин, вспомнив свою Лизку, тяжело вздохнул в предчувствии грядущих расходов.

– А как мы пройдем? – простодушно поинтересовалась Таня. – У вас билеты есть?

– Решим в рабочем порядке! – неожиданно для себя ответил он. – Сапожник всегда без сапог...

Билетов у него, разумеется, не было. Направляясь сюда, краснопролетарский руководитель рассчитывал на служебное удостоверение и на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой, продираться как-то неудобно, несолидно, что ли. Шумилин остановился в стороне от входа и принялся соображать: можно, пожалуй, позвонить в дискотеку и вызвать на улицу кого-нибудь из дружинников, но номер телефона вместе с записной книжкой остался на работе... Еще можно... Тем временем вертлявый хмырь в застиранном добела джинсовом костюме несколько раз изучающе прошел мимо, затем приблизился вплотную и спросил напрямик:

– Билеты нужны?

– Нужны! – ответила Таня, с улыбкой посмотрев на своего задумавшегося кавалера.

– Пять.

– За два билета?

– Штука.

– Вы что, обалдели? – возмутился в ней врач-терапевт, получающий сто двадцать рублей в месяц.

– Как хотите, – пожал спекулянт плечами и повернулся на мушкетерских каблуках.

– Погоди-ка, – остановил его Шумилин, полез за бумажником и вынул новенькую, будто бы пахнущую типографской краской десятку. – Не обрежься!

Парень хмыкнул и, взяв деньги, передал два пригласительных билета; рядом с ценой «один рубль» стояла отчетливая печать Краснопролетарского РК ВЛКСМ.

– Так сапожник и без штанов остаться может... – задумчиво проговорила Таня.

Показывая билеты, они постепенно протолкались ко входу, попросили посторониться прилипшую к стеклянным дверям пару и, помахав в воздухе картонками, привлекли внимание дежурившего за дверью незнакомого (видно, из нового набора) оперотрядника. Дружинник взял билеты, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал и – тоже мне, сыщик! – спросил как бы невзначай:

– Вы в какой организации покупали?

– Ни в какой, – простодушно ответил первый секретарь, – мы здесь, около входа, по пятерке за штуку взяли...

– Что? Я сейчас! Стойте здесь... – выпалил оперотрядник и метнулся к гардеробу, где, облокотившись о барьер, мирно беседовали Иван Локтюков и широкобородый, с купеческим пробормом гардеробщик, рассказывавший, наверное, о своем участии в Брусиловском прорыве.

– Николай Петрович? – удивился заведующий оборонно-спортивным отделом и руководитель районного оперативного отряда. – Проверяешь? А разве сегодня...

– Нет, я отдыхаю. А ты?

– Проверяю.

– Вот так, да? Молодец. Значит, Мансуров с тобой тоже о спекулянтах беседовал.

– Беседовал.

– Ну, тогда с тебя червонец... нет, восемь рублей. В зарплату отдашь...

Выяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумилин тем временем повел Таню в зал, где оглушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет: на мгновение вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими. Диск-жокей что-то выкрикивал в микрофон, и прыгающая толпа отзывалась восторженными возгласами.

Перед танцевальным залом располагался бар, а перед баром – столики. На стульях висели и лежали курточки, сумки, полиэтиленовые пакеты – так что сесть было некуда. Наконец они высмотрели столик, одной стороной приставленный к стене: на двух стульях из трех ничего не висело и не лежало. Усевшись, Таня попыталась пристроить гвоздики в пустой стаканчик для салфеток, но потом просто положила цветы возле стены.

Музыка оборвалась, и столики стали заполняться. На экране вспыхнули и начали сменяться один за другим ослепительные слайды, на них рекламно улыбались суперзвезды мировой эстрады, а диск-жокей, захлебываясь, рассказывал о заблиставших недавно новых светилах музыкальной вселенной. С таким же восторгом, наверное, в двадцатые годы чумазые парни рапортовали о том, что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену.

К только-только устроившимся Тане и Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные вельветовые джинсы и фирменные майки с рисунками. Девушка была рыжеволосая, с веселыми глазами и нежно-розовой, словно обожженной на солнце, кожей. Ее приятель обладал высокомерным взглядом, выполненной, очевидно, в домашних условиях модной стрижкой и физиономией со следами вулканической деятельности молодой плоти. После танца оба глубоко дышали, под мышками расплылись темные круги.

– Это наши места! – обиженно сказала девушка.

– Все три? – уточнила Таня.

– Все три, – надменно подтвердил парень. – Мы ждем человека.

– Слушайте, ребята, – миролюбиво предложил Шумилин. – Мы скоро уйдем, а стул себе я сейчас принесу. Договорились?

– Ладно, – легко согласилась девушка.

Ее друг непримиримо промолчал. Но тут снова обрушилась музыка – и они умчались танцевать.

Краснопролетарский руководитель между тем притащил стул и отправился к стойке. Незнакомый бармен (прежнего после проверки трудоустроили), мордастый мужчина лет тридцати в массивных очках-«хамелеонах», статью напоминал выпускника Института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по прейскуранту ассортимент и принялся брезгливо что-то перемешивать в стаканах, а потом сообщил, что имеется только «шампань-коблер». Затем с отвращением воткнул в напитки полиэтиленовые соломинки и метнул сдачу.

Исхитрившись, неопознанный первый секретарь за один раз перенес все четыре стакана на стол и два из них подвинул ребятам, вернувшимся с танца.

– Спасибо! – обрадовалась девушка, которую Таня уже называла по имени – Аня.

Юноша именовался Андреем.

Попробовали коктейль: любимыми ингредиентами бармена оказались вода и лимонная кислота.

– Мы вас тут раньше не видели. Вы – кто? Мы из педагогического, с инфака, – легкомысленно начала знакомиться Аня.

– Я – врач, а Николай...

– Учитель... Я учитель... – быстро перебил Таню глубоко законспирированный краснопролетарский руководитель.

– Наш институт заканчивали? Какой факультет? Когда?

– Наш. Истфак. Закончил, когда вы еще в школе учились.

– А кто у вас педагогику читал?

– Шуринов.

– И у нас Шуринов. Здорово! А в школе почему работаете? Распределили?

– Распределили.

– Я сразу догадалась, что вы учитель. По костюму и галстуку!

– Вот так, да? А как у нас в институте с билетами сюда? – осторожно приступил к следствию Шумилин. – В очереди стоять не приходится?

– Бывает! – ответила девушка, щebetавшая и за себя, и за своего приятеля.

– Мы здесь в первый раз, – продолжила светскую беседу Таня, – а вам тут нравится?

– Нравится! – сообщила Аня. – Если б еще не эти из райкома – совсем бы здорово было...

– А что им нужно? – равнодушным голосом спросил подобранный первый секретарь.

– Да-а... лезут не в свое дело, программу недавно сняли. Им, понимаете, процент советской музыки подавай!

– Ну и что в этом плохого?

– А вы пробовали под «Трех танкистов» танцевать? – прорвало наконец и Андрея.

– Во-первых, танцуют не под все песни, под некоторые и в бой идут, – патетически начал Шумилин, а закончил с обидой: – И дискотеку, между прочим, для вас райком комсомола выбил!

– А зачем ее «выбивать»? – зло удивился парень. – Если есть спрос, нужно строить, пока очередей не будет, как делают на Западе. Это же прибыль! А то, подумаешь, подвиг райком совершил – дискотеку открыл! И вообще комсомол себя изжил...

– Вот так, да? – переспросил первый секретарь. – Это почему же?

– Конечно, изжил! – легкомысленно подхватила Аня. – Представляете, все, кому от четырнадцати до двадцати восьми, – в комсомоле. И мы с Андреем, наверное, и вы с Таней, и восьмиклассники, которые перед входом толкуются...

– А чем тебе это не нравится?

– А тем, что молодежь нужно по интересам объединять, а не сгонять в одну организацию.

– А ты в какой организации хотела бы состоять? – заговорила Таня.

– Я? Ну, например, Союз Музыки и Танца – СМТ! – полусерьезно заявила Аня.

– А потом? – тихо спросила Таня.

– Что потом?

– Потом, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, начнешь работать – и будет не до СМТ. Тогда перейдешь в СМЖ – Союз Матерей и Жен? Да? А если, не дай бог, разведешься или совсем замуж не выйдешь, тогда куда? В какой-нибудь СОД – Союз Одиноких Девушек?..

– Я же к примеру сказала! – обиделась девушка.

– И я к примеру.

– А все-таки, – мрачно вмешался Андрей, – почему комсомол не спрашивает, как мы хотим жить, а вспоминает про нас, когда нужно взносы заплатить, собрание провести или субботник? Почему, например, у комсомола нет своих кинотеатров, где бы только для молодежи фильмы крутили? Почему?

– А почему ты говоришь о комсомоле как о какой-то посторонней благотворительной организации? – профессионально возразил Шумилин. – Ты сам и есть комсомол, от тебя самого и зависит, как жить. И потом, почему ты все время про развлечения рассуждаешь? Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует – деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут, эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает, и на...

– А вы меня БАМом не пугайте! На Западе не хуже дороги строят и молодежь этим не попрекают!

– Что ты все: Запад, Запад... Запад не потерял двадцать миллионов на войне, на Западе такой разрухи в глаза не видели!

– Вы и через сто лет все на войну валить будете? А мы ведь победители. Немцы войну проиграли, а у них в магазинах все есть!

– У них другого нет...

– Давайте-давайте, теперь про безработицу среди молодежи, но тогда и про пособия не забудьте. Они там больше нашей зарплаты.

– А ты был на Западе-то?

– А вы были?

– Я-то был, – твердо ответил Николай Петрович, роскошно прокатившийся с молодежными делегациями в Испанию и ФРГ. – А вот ты с разных голосов нахватался.

Парень насупился и молча старался проткнуть гнущейся пластмассовой соломинкой вишенку на дне стакана.

– Вы не учитель, – задумчиво произнесла Аня, – вы из райкома. А мы из педагогического, с инфака, курс вам тоже сказать?

– Это мы сами выясним, – нахмурился Шумилин. – Татьяна Андреевна, запишите и завтра к институту подошлите решетчатую карету и пять мотоциклистов с пулеметами.

Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал.

– Ой, Татьяна Андреевна, – по-женски ловко сменила тему Аня. – У вас же гвоздики совсем поумирали! Андрюша, попроси у бармена вазу – букет жалко.

– Мне он не даст...

Первый секретарь сделал многообещающий жест, отправился к стойке, купил бутылку шампанского и попросил вазу.

– Хрустальную или из чешского стекла можно? – поиздевался бармен. – Бутылку выпьешь и воткнешь...

– Можно бы и повежливее...

– Иди-иди, перестарок! – громко крикнул вдогонку «выпускник МГИМО».

– Не получилось, – садясь, объяснил Шумилин. – Ладно, нам уже уходить пора, тем более мы обещали недолго посидеть.

– Да что вы! – раскраснелась Аня. – Давайте еще поспорим, а?!

– Хватит уж, – буркнул Андрей.

А тем временем у стойки разворачивались драматические события: угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Локтюков подошел к бармену и что-то сказал, кивнув в сторону краснопролетарского руководителя. Лицо укротителя коктейлей окаменело, под наморщенным лбом началась борьба самолюбия и расчета, но поскольку у схватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности. Он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд, приблизился к столику, с уважительным укором глянул на начальство:

– Вазы, честное слово, нет. Может, это подойдет?

И поставил на середину стола сияющий никелированный кубок городской спартакиады, три дня назад похищенный неизвестными хулиганами.

– Откуда это у вас? – ошеломленно спросил Николай Петрович. Барменское самолюбие сделало последнюю попытку вырваться из стального захвата, но было окончательно прижато к ковру.

– Какой-то парень вместо денег впарил: не поднимать же шум из-за полтинника!

– Локтюков! – закричал Шумилин на весь зал.

Посчитав, что первого секретаря бьют, глава оперотряда, расшвыривая стулья, выскочил из вестибюля и замер, увидев знакомый серебряный сосуд, в который ничего не подозревавшая Аня уже поставила понурившиеся гвоздики.

## 14

Благосклонно глядя на себя в зеркало и пританцовывая, Шумилин ездил по щекам трескучей электрической бритвой. Выпадают редкие дни, когда чувствуешь себя победителем жизни, сегодня у него был именно такой день: он даже проснулся с ощущением легкости, чего с ним давно уже не случалось.

Весь вчерашний день здорово напоминал счастливую концовку плохого детектива. Причавшийся по звонку инспектор Мансуров опросил бармена и нескольких ребят, постоянно пасшихся, чуть не ночевавших в дискотеке, заверил райкомовцев, что остальное – вопрос техники, и обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку краснопролетарского руководителя с каким-то особенным уважением.

Шумилин пошел провожать Таню домой, и они еще долго бродили по темным улицам, сгрудившимся у подножия сияющего стеклом проспекта. Несколько раз им встречались дружинники; некоторые оперотрядники узнавали первого секретаря и поглядывали на него и Таню с тем выражением, какое бывает у детей, вдруг выяснивших во время турпохода, что учительница тоже очень любит сладкое и до смерти боится лягушек.

Потом они сидели на широкой и низкой скамье, передвинутой кем-то с автобусной остановки в глубь заросшего, почти поленовского двора. Шумилин вновь и вновь рассказывал Тане о происшествии в райкоме, не переставая изумляться, что кубок отыскал именно он.

– А если бы эта Аня не вспомнила про цветы? Представляешь?

– Представляю... А что будет *тем*, когда найдут?

– Плохо будет. Статьи я не помню – надо у Мансурова спросить.

– А от тебя это будет зависеть?

– Все, что зависело от меня, я сделал.

– Все? Я думала, ты добрее.

– Что же поделаешь?

– Наверное, ничего. Я замечала, когда врачи становятся большими руководителями, обычно это отражается на их пациентах. За все приходится платить. Я слышала, тебя в горком приглашают?

– Приглашают в гости. Работу в горкоме мне пока никто не предлагал. А за свою карьеру – тебя не смущает такое слово? – я расплачиваюсь собой... Понимаешь, собой, а не другими.

Холостой приятель, увидев их на пороге в половине двенадцатого, так оторопел, что даже забыл ударить себя по лбу. Этой ночью, обессилив, Шумилин и Таня впервые заговорили о будущем...

...Шумилин добрился, струей одеколona, как из маленького огнетушителя, немного остудил жар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая

галстук, а когда выглянул в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прыгая через ступеньку и легкомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный солнцем, остановился, дожидаясь, пока рассеются синие пятна перед глазами.

– Какого человека катаю! – уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь «Волги», не пожарной, как обычно, а блистательно-черной, с розовыми занавесочками.

– А где наша машина? – любопытствовал Шумилин, усаживаясь.

– Коробка полетела. Начальник колонны плакал, когда этого орла давал... Слушай, а как ты его нашел?

– Кого?

– Ладно, не притворяйся! Бокал этот...

– А-а, кубок! В общем, случайно...

– Э-э, не надо своим ребятам-то вкручивать!

– Понимаешь, Ашот, – задумчиво начал первый секретарь, – у умного человека, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего вида должно быть...

Они так громко захохотали, что гаишник, стерегущий перекресток, долго всматривался в номер их «Волги».

Приехав в райком, Шумилин назначил планерку на одиннадцать часов, передал черный футляр с печатью Комиссаровой и помчался на стройку, куда давно уже собирался.

Проспект, переходящий в шоссе, пролетели мгновенно, потом тряслись по грунтовке и наконец влипли в месиво, каковое всегда окружает место, где человек вознамерился возвести себе жилье. Ашот затормозил у плаката с надписью: «Ударная комсомольская стройка Краснопролетарского района», открыл дверцу, посмотрел на землю и выходить не стал.

Шумилин вылез и по обломкам стройматериалов, как по кочкам, запрывал к вагончикам, возле которых расселись на бревнах строители. Они курили, грелись на доходящем осеннем солнышке и давали советы таскавшим мусор стройотрядовцам:

– Да ты резче носилки отпускай, а то руку вывихнешь!

Увидев в окно подкатившую «Волгу», бригадир вышел из вагончика:

– Николай Петрович! Из отпуска – и прямо к нам! А мы уже штукатурим!..

– А почему только наши бойцы работают?

– У нас как у Райкина: раствор – йок, сiju, куру. А у бойцов – энтузиазм молодых!

– Вот так, да?! Тогда придется позвонить в трест и узнать, почему потери рабочего времени должны покрывать за счет энтузиазма молодых... На субботу и воскресенье я к вам сам с активом приеду. Ждите.

Шумилин обошел холодные, пахнувшие свежим цементом коридоры почти готового здания, взглядом старого стройотрядовского волка засек парочку «расцветающих» дверных проемов, переговорил со знакомыми ребятами и, уже подходя к машине, увидел, как бригадир, размахивая руками, поднимает с бревен свою отяжелевшую гвардию. По пути в город им встретилась машина с раствором – значит, в трест можно не звонить. Нет, положительно день складывался удачно!

С дороги, из автомата, Шумилин пытался дозвониться до Тани, но телефон был занят.

Когда Николай Петрович в сопровождении Ашота вошел в приемную, Аллочка внимательно посмотрела на измазанные ботинки краснопролетарского руководителя, медленно сравнила их с сияющими штиблетами шофера и наконец сообщила, что недавно звонили из РУВД.

Первый секретарь метнулся к телефону.

– Все в порядке: один уже у нас, – доложил капитан.

– Ну и... Кто он? Из нашего района?

– Объясняю: Семенов Юрий Сергеевич. – В трубке было слышно, как инспектор шуршит бумагой. – 1967 года рождения, русский, учащийся десятого класса 385-й школы нашего района, проживает в нашем же районе: Нижне-Трикотажный проезд, дом 14, квартира 127. В комсомоле не состоит, инспекция по делам несовершеннолетних его, оказывается, знает, уже встречались. Семья нормальная: отец – шофер в НИИТД, мать – воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но – догадливый! – сразу все понял и даже удивленных глаз делать не стал...

– А второй?

– Второго пока не установили. Семенов говорит, познакомился в магазине, когда покупал портвейн, раньше не видел и потом не встречался, где живет, не знает, как зовут, не помнит. Наверное, врет, хотя все берет на себя. Сознался, что идея влезть в райком – его. Сначала собирались выпить в скверике перед райкомом, но потом Семенов заметил открытое окно и предложил продолжить в помещении – так сказать, с комфортом! В общем, цепочка, о которой я вам и говорил: безделье – выпивка – хулиганство...

– А где он сейчас?

– Отдыхает.

– Товарищ... – Шумилин быстро полистал календарь и нашел имя инспектора, – Михаил Владимирович, у нас просьба: члены бюро хотели бы поговорить с этим Семеновым, высказать ему свое отношение, может быть, для себя какие-то выводы сделать. Бюро у нас сегодня в два.

– Доставим. Только не думаю, что из разговора с ним толк выйдет. Обыкновенный хулиган! Я спрашиваю: «Зачем же вы в райкоме погром устроили?» А он: «Ничего не помню – пьяный был...»

– Привезите его, пожалуйста, к половине второго. Я сам сначала на него хочу поглядеть.

– Пожалуйста! Но воспитывать его нужно было раньше.

Аппарат прошел быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело, только вчера казавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу.

Шумилин, довольный, вернулся в кабинет и только собрался пообщаться с Таней, как по прямому телефону ему позвонил осведомленный Околотков:

– Ходят слухи, что тебя Петровка в кадры забрать хочет?

– Уже заявление пишу!

– Не торопись! Первый вернулся и как утром обо всем узнал, так на тебе заикнулся. «Какие люди!» – говорит. Кстати, ты этого налетчика сам-то видел или, как Шерлок Холмс, занимаешься только интеллектуальным сыском, а техническую сторону милиции оставляешь?

– Еще пока не видел, но сегодня на бюро его привезут, хочу, чтобы с ним ребята потолковали – он ведь из нашего района.

– Та-ак... Грамотный ход! Я сегодня у пищевиков на отчетно-выборной конференции, это рядом с тобой. Обязательно заеду, посижу у вас на бюро, заодно обсудим, как тебе лучше с первым на собеседовании держаться... С одной стороны, ты, конечно, герой! А с другой... Да, чуть не забыл: тебя тут телевидение хочет. Стройкой твоей интересуется. Режиссер тебе вечером позвонит. Когда сниматься будешь, не забудь причесаться! Кстати, звезда экрана, ты с Галей-то помирился?

– Нет.

– А вот это зря. Ты меня понял? До встречи.

Шумилин перевел дух и связался с Ковалевским.

– Все уже знаю, – ответил Владимир Сергеевич. – Ну вы, братцы мои, даете: сами хулиганов разводите, сами ловите. Он из какой школы?

– Из триста восемьдесят пятой.

– И школа-то хорошая. Надо разобраться.

– Я хочу, Владимир Сергеевич, чтобы с этим Семеновым члены бюро поговорили, разобрались. Его сегодня к нам из милиции привезут, секретарь горкома Околотков будет. В два начнем.

– Директора школы пригласите обязательно! Постараюсь к вам прийти – погляжу на вашего громилу. Очень мне интересно, как ваше замечательное общество такие некачественные продукты производит. А второго еще не нашли?

– Нет еще.

– Ну, ты уж, Николай, поднапрягись: у тебя, говорят, это хорошо получается! И вообще, загляни ко мне на неделе, пора нам, как говорят в «Кинопанораме», о твоих творческих планах потолковать.

Шумилин положил трубку и, нажав кнопку селектора, попросил Комиссарову пригласить на бюро директора 385-й школы.

– Бедная Ирина Семеновна! – посочувствовала сердобольная Надя. – У них лучшая успеваемость по району...

– Ничего, – сурово ответил первый секретарь. – Теперь дисциплиной займусь.

И опять начал набирать Танин телефон, но тут, гремя развернутой газетой, в кабинет влетел Чесноков.

– Командир! Слава коггистой лапой стучится в дверь!

– Вот так, да? – заинтересовался Шумилин и, положив трубку, расправил газетный лист на столе.

Большая, хорошо пропечатавшаяся фотография на первой полосе изображала заседание Краснопролетарского бюро: подретушированный первый секретарь неподвижно уставился на Бутенина и, что-то объясняя, фехтовальным движением направил ему в грудь авторучку. Речь, помнится, шла о своевременной сдаче взносов. Члены бюро старательно демонстрировали внимание. Сбоку, ломая все представления о времени и пространстве, прилепился Чесноков, действительно очень хорошо получившийся на фотографии.

Шумилин вздохнул и позвонил Липарскому.

– Видал? – победно спросил тот.

– Видал. Спасибо. Парню твоему все оформили. А кстати, вам нужен острый материал о работе с подростками?

– Острый материал всегда нужен, но только такой, чтобы не проколоться...

– Мы сегодня на бюро будем с одним несовершеннолетним беседовать...

– С тем самым?

– С тем самым.

– Ну ты отважен, старик! Это надо бы с главным переговорить. И с горкомом тоже. А впрочем... Ты меня понимаешь? А?! Придет корреспондент. Обнимаю. Отбой – четыре нуля...

Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Липарского – умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заворг стоял потупившись, заранее приготовившись к поощрению.

«А ведь и правда: удачно получилось», – с досадой подумал краснопролетарский руководитель, а вслух спросил:

– Как там у нас с явкой на бюро? Смотри, Околотков приедет, и Владимир Сергеевич обещал...

– Ковалевский?! Вот это да! Гора идет к Магомету...

– Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, и чтоб около сектора учета хвоста не было!

– Понял, командир! За кворум не бойся: с такой повесткой дня у нас аншлаг будет! Первый раз за два года олимпийского чемпиона Колупаева увидишь. Я просил его с олимпийской

медалью на шее прийти. Шучу. Еще звонили из Краснопролетарского универмага – есть серые финские костюмы, пятый рост! Такое бывает раз в сто лет. Я беру. Твой размер прихватить?

– Я подумаю, – ответил он Чеснокову.

– Если покупатель станет думать – ему носить будет нечего, хватать нужно, а не думать!

И потом: думай не думай, сто восемьдесят рублей – не деньги!

– Ладно, пойдем в конце дня примерим...

– Может, ты еще в список запишешься, недельку на переключки походишь, а потом сутки в очереди постоишь? Эх, Николай Петрович, не умеешь ты своими правами и обязанностями пользоваться. Или не хочешь пока? Шучу.

Олег ушел, а Шумилин связался с майонезным заводом. Лешутина убеждать по поводу кандидатуры нового секретаря не пришлось.

– Пусть поработает, – согласился он. – Что нужно делать, Бареев знает, сам на собрании об этом кричал. Я-то – за, но, по-моему, Головки уже успел директора накрутить.

– Вот так, да? А на месте директор?

– В министерство уехал. Там он на месте.

– Ну, ничего, с ним мы договоримся.

– Договоритесь. Он у нас тоже на повышение идет...

«Все всё знают! Парапсихология какая-то!» – удивлялся краснопролетарский руководитель, набирая номер комитета комсомола педагогического института.

– Послушай, Андрей, – спросил он у Заяшникова, – кто у нас секретарь на инфаке?

– Медковский. А что?

– Смену планируете в этом году?

– Нет. А что?

– Пусть он послезавтра в четыре часа подойдет.

– Что-нибудь случилось?

– Пока нет. А ты-то сам доволен, как у тебя инфак работает?

– В общем, не очень. А что?

– Ничего. Я с ним хочу, в общем, поговорить. Не опаздывай на бюро!

– Не опоздаю. У нас уже весь комитет знает, подробностей ждут! Николай Петрович, а можно тебе задать один нескромный вопрос?

– Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то!

Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше.

Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Аллочки, что звонили из Тынды.

– Кононенко?

– Виктор Иванович! – подтвердила она. – Спрашивал, как у нас дела!

– Ну и что ты ответила?

– Ответила – «нормально»: вы же предупреждали...

– А телефон он свой оставил?

– Нет, сказал, еще будет звонить...

«Как дела? Как дела? – сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. – Тут не дела, а целое дело – уголовное!»

Следом в комнату проникла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос.

– Она просила что-нибудь передать? – забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней.

– Нет. Сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена! – скромно добавила секретарша, но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться, – рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. – Ну и ладно. А в общем-то, странно...» Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа.

Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции. На пороге кабинета, озираясь, парень остановился.

– Что, знакомые места? – с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин. – Проходи, побеседуем...

Семенова усадили перед столом-аэродромом, а инспектор с сержантом сели на стульях возле стены.

Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. Какой там школьник! Перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, и на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов! Но все-таки по движениям, посадке было заметно, что парень еще до конца не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом. Да и его вызывающее спокойствие, если приглядеться, было ненастоящее.

– Рубашку застегни, – тихо потребовал Шумилин. – Ты все-таки в районном комитете комсомола.

– Для него это не аргумент, – усмехнулся Мансуров.

Парень застегнулся и выжидательно выпрямился.

– Вот что, Семенов, – медленно и грозно начал Шумилин. – За свое преступление, да-да, именно преступление, ты ответишь по закону, но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы и директора твоей школы – школу, Семенов, ты тоже опозорил! А сейчас скажи мне – я просто хочу твою логику понять! – почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто, или есть другая причина?

– Нет.

– Вот так, да? Значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть?

– Захотел, – угрюмо ответил парень.

– Ну, если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти!

– Я не комсомолец.

– Как же так случилось? – с ехидной участливостью спросил Шумилин.

– Не приняли.

– И правильно сделали – ты бы тогда в райком каждый день стал лазить, может, и ко мне заглянул бы: я иногда допоздна засиживаюсь.

– А я к вам уже заглядывал.

– Что ты говоришь? По какому же вопросу, можно узнать?

– По личному.

«Я же предупреждал вас: наглец он!» – взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова.

– Что-то я не припоминаю нашу встречу. Это когда было? – с иронией уточнил краснопролетарский руководитель.

Семенов пожал плечами.

– Молчать проще всего, ты лучше напомни, – встревожился Шумилин.

– А зачем? Вы же опять забудете...

– Не морочь людям головы! – по-милицейски повысил голос Мансуров. – Спрашивают тебя – отвечай!

Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополиную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому подшефными полярниками. А первый секретарь натужно вспоминал.

Людская память обладает двумя качествами: человек может забыть очень многое и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь: например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза.

И Шумилин вспомнил.

## 15

В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол.

– Триста восемьдесят пятая! – крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседания боязливо вступила группа восьмиклассников – девочки в негнущихся белоснежных передничках, мальчики в застегнутых на все пуговицы белых рубашках, один даже в отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч.

«Прямо первое сентября, только что без цветов, – подумал Шумилин. – Молодец, Ирина Семеновна!»

А то в последнее время взяли моду являться на бюро в чем вздумается, и он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в РОНО.

– Садитесь, ребята! – важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома.

Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385-й Леночка Спиридонцева, аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости – сосуды сообщающиеся. Кукольным голосом она читала заявления, содержание которых в основном сводилось к законному желанию вступающих оказаться в авангарде советской молодежи; скороговоркой сообщала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкет и делал отметки, утверждающие решение собрания.

А тем временем члены бюро беседовали со вступающими.

– С уставом ознакомился? – доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом.

– Д-да, – четко отвечал испытуемый.

– Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма?

И вступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которых был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое, если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями члена ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале двух-трех ребят: за дверьми ждали своей очереди учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем.

Если группа вступающих оказывалась небольшой, каждому члену бюро доставалось по одному вопросу, знакомому, что называется, до слез, но когда – как в тот день – в зале заседаний случалось сразу человек по двадцать, надо было спрашивать по второму и третьему кругу. Приходилось с помощью вступающих выяснять политическую обстановку в мире, углубляться в историю комсомола, выпытывать, что же это за такое общественное поручение в восьмом классе – «консультант», в крайнем случае интересоваться, какую последнюю книгу прочитал испытуемый. Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу:

«Какие у комсомола ордена?» И вот удивительно: вместо того чтобы пересчитать тут же на стене развешанные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе «Комсомольской правды».

В безнадежных случаях, когда вступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое не часто, ибо цифра приема, как говорится, – лицо любого райкома.

В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визирировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад: сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину: «Светочка, поздравь, пожалуйста!» Та незаметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВЛКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась.

В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, – поэтому к тому времени, когда Спиридонцева вызвала Семенова и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по три вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления.

Семенов испуганно вскочил и, ожидая, взволнованно гнул длинные прозрачные пальцы.

Удивленный тишиной, Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум:

– А почему ты вступаешь в комсомол?

– Я? – переспросил паренек.

– Ну не я же!

– Я... Так ведь все вступают.

– Что значит «все вступают»? Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?

Испытуемый молчал.

– Как ты учишься? – зашел с другого бока первый секретарь.

– Без троек.

– Общественные поручения есть?

– Есть. Стенгазета.

– А кто тебя рекомендовал?

– Елена Александровна... Классный руководитель.

– Ну вот видишь, все у тебя в порядке, а ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал! – улыбнулся Шумилин.

– Могу повторить... Но это ведь все написали! – вернулся в исходное положение паренек, видимо, убежденный, будто от него ждут какого-то особого, исповедального ответа.

– Вот так, да? Опять – «все». Вы под диктовку, что ли, писали?

– Н-н-нет, – ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. – Нет, нет!

– Кто у тебя родители? – резко вмешалась в разговор Шнуркова.

– Папа – шофер, мама – воспитательница в детском саду...

– Интеллигентная семья! Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили? «Как все» – не ответ. Пойми, комсомол – это огромное событие в твоей судьбе, это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу! Комсомолец – не звание, не красивый алый билет, это – жизненная позиция! Ты понял меня?

– Понял...

– Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится! – директивно закончила третий секретарь.

– Подождите! – остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. – Ты хочешь быть комсомольцем?

– Хочу... – проглатывая слезы, ответил Семенов.

– Ты читал речь Ленина на Третьем съезде комсомола?..

– Читал! – ожил он и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи.

– Хватит... Хорошо! – остановил его Бутенин. – Учится нормально, общественное поручение есть, документы знает... Одним словом, я считаю: можно утверждать...

– Я категорически против! – непримиримо возразила Шнуркова. – Это же формализм! А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества! Если же человек не знает, зачем идет в комсомол, – хорошая память убежденности ему не заменит. Я против!

Все посмотрели на Шумилина.

Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напомиравшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колючками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими, секунду он различал ее, но потом навсегда потерял из виду.

Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но с другой стороны, как ни в чем не бывало принять человека, не ответившего, почему он вступает в комсомол, тоже нельзя. Да еще эта Шнуркова... Надо бы не Кононенко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря бог послал: чуть что – в Новый дом бежит! Ладно, через месяц примем парня, а ему впредь наука: мужчина всегда себя должен в руках держать.

– Голосуем. Кто за то, чтобы отложить? – призвал он и сам поднял руку.

Против проголосовал Бутенин. Полубояринов воздержался.

– Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоём приеме, – отечески объяснил первый секретарь. – Но ты не расстраивайся: мы тебе не отказываем, через месяц ждем на бюро. До свидания, можешь идти...

После того как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребят и привычно поздравил их со вступлением в комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членами ВЛКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы, и попросил задержаться Спиридонцеву.

– Что же вы так готовите вступающих?! – возмущенно спросил он поникшую Леночку. – Анкеты – я потом посмотрел – как под копирку написаны.

Уменьшая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание – лучший довод в споре с руководством.

– Я предлагаю, – возвысила голос неутомимая Шнуркова, – строго указать комитету ВЛКСМ триста восемьдесят пятой школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через два месяца заслушать отчет о принятых мерах... А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю!

После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипит ему в лицо.

В задымленной комнате он застал громкий спор.

– Что же получается! – возмущался Бутенин. – Прокатили парня только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем глубоко личного отношения?

– Я ему этот вопрос не задавала, – спокойно возразила Шнуркова.

– Да я тебе про другое говорю. Вопрос можно любой задать. Одним словом, парня мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется: мол, правду говорить себе дороже? Так?!

– Останется, что нельзя быть начетчиком! – отрубил третий секретарь и ввинтила в пепельницу искуренную до фильтра сигарету.

– Да сама ты начетчица! – взорвался Бутенин. – Для мальчишки же это трагедия, он просто растерялся.

– Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется. А принимать людей, идейно не подготовленных, нам никто права не давал!

– Ты это серьезно? – опешил Бутенин.

– Более чем...

– Ну, тогда тебя не переспоришь...

Шумилин еще долго помнил про тот случай, а когда через три месяца Спиридонцева докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро.

– А он не хочет! – обиженно сообщила Леночка. – И вообще последнее время он учиться хуже стал, безобразничает. Родителей в школу вызывают...

– Работать нужно с несоюзной молодежью, – нахмурился первый секретарь.

– А мы работаем!

– Вот так, да?.. – строго переспросил Шумилин, но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стендов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии.

А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на два года. А теперь вспомнил...

– Михаил Владимирович! – попросил Шумилин. – Я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините.

Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли.

– Значит, говоришь, по личному вопросу приходил? – спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась.

– Приходил.

– А что же ты потом не пришел? Обиделся?

– Мне подачек не надо, – ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили.

– Обиделся! А жизнь самому себе испортил. Да-а, Юра, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил!

Краснопролетарский руководитель почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться как мальчишка.

И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив нюни, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом.

– Успокойся! – строго сказал Шумилин и опять же, как в том фильме, налил парню воды. – Приведи себя в порядок. Я сейчас вернусь...

Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо ожидавшемуся инспектору:

– Сколько же ему могут дать?

– Ну, это уж суд решать будет, – удивленно ответил Мансуров.

– А по вашему опыту?

– Смягчающих обстоятельств нет. Райком – не ларек. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят – может быть, и со взрослыми досиживать придется. Вы же за него ходатайствовать не собираетесь?!

– Нет... Не знаю... Спасибо. Можете забрать его.

Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но, задумавшись, так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать.

...Допустим... Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й (что в присутствии Ковалевского и Околоткова очень некстати), – все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова, бюро, в сущности, поддержало; в крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и школой вину за одного из упущенных подростков. А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто!

В дверь заглянула Аллочка:

– Николай Петрович, члены бюро собираются.

– Пусть рассаживаются. Я иду.

... Так вот... Никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами. Не привык... Но тогда...

В кабинет ворвался энергичный, как паровой молот, Чесноков:

– Командир! Ковалевский и Околотков...

– Где?! – бросив трубку, вскочил Шумилин.

– У подъезда, друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет.

– Очень ты суетишься.

– А у меня нет папы-начальника, чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по телефону жизнь устраивал!

Торопясь к двери, Шумилин хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся.

Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лизку «к нам домой» и, если можно, освободить вечер, чтобы поговорить...

Такого поворота событий первый секретарь не ожидал.

– Алло, что ты молчишь? – тревожно спросила жена.

– Подожди, – ответил он и закрыл трубку ладонью: в дверь шумно входили Ковалевский и Околотков.

– Ну, братцы мои, заработались! – улыбнулся Владимир Сергеевич. – Городское начальство встретить некогда.

– Ничего, это болезнь роста! – в тон ему шутил Околотков.

– Командир! – одними губами умолял Чесноков.

– Алло, Коля, что ты молчишь?! – ладонью, зажимающей трубку, слышал Шумилин голос Гали.

Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба, сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать...

## Как я был колебателем основ

### 1. Проснуться знаменитым

В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым на всю страну. Уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся знаменитым прозаиком. Случилось это в тот день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня нагло смотрел длинноносый парень, неумело канающий под задумчивого. По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно – далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие в присутственных местах. Позже пришла мода на «охаривание» лиц известных людей. Мол, такой же человек, как мы с вами! Вон какая бородавка на носу! О том, что это тенденция, имеющая дальние цели, до меня дошло, когда в телевизоре появились уродливые дикторы, которыми можно на ночь пугать детей. Но я забежал вперед.

А тогда, прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме начала XX века над рестораном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая для того, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мысли печатались в одном и том же журнале. И это было нормально. Теперь же если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания, – как мужик, который с пьяных глаз ломится в дамскую комнату. Но я снова забежал вперед.

Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:

- Поздравляю! Чего грустный?
- Вот фотография плохо вышла...
- Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!

Он не ошибся. В те годы публикация острого романа, выход на экраны полежавшего на полке фильма или открытое письмо какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, – все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили серьезных людей, облеченных властью. Они спорили, совещались, приглашали вольнодумцев в свои кабинеты, гоняли с ними чай, обещали льготы в обмен на сдержанность, а если те упорствовали, наказывали страшно: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятия западных спецслужб, подготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, обозревателем радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь нудного романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все за и против. А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей волонтаристской дури! Странные времена....

Тем, кому сегодня за сорок, не нужно объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим в общем-то прозаиком, могла потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций,

бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП...» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»), напечатавшего в «Комсомольской правде» статью «Человек со стороны». Статья была явно заказана комсомольским начальством, не ожидавшим такого ажиотажа вокруг повести о райкоме.

Думаю, слаженная критика «ЧП...» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, которая непременно растопит торосы империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле боролся с предсмертной одышкой генсек Черненко, и о радикальном сломе системы свободно рассуждать можно было только на Канатчиковой даче. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики будущих социальных потрясений. Конечно, наутро десятки моих друзей, ночами внимавших «вражьиим голосам», поздравили меня с признанием на Западе. Впрочем, они очень удивились, что на «ЧП...» никак не отреагировал главный изгнанник – Солженицын. Думаю, ему было не до меня: он уже отошел от идеи сбросить атомную бомбу на СССР, но еще не озаботился тем, как нам обустроить Россию. В ту пору вермонтский отшельник с сизифовым упорством катил вперед свое «Красное колесо», которое дочитать до конца – то же самое, как птице долететь до середины Днепра...

По тогдашним правилам игры раскритиковали меня в прессе, конечно, не за разоблачительный пафос, а за недостаток художественности. Однако любой читатель, владевший основами чтения между строк (этим искусством владели все, кроме моей бабушки, так и не выучившейся грамоте), отлично понимал: начальство в бешенстве, вместо критики отдельных недостатков трехмиллионным тиражом вышло сомнение в базовых ценностях. Кстати, по логике постперестроечного абсурда именно сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил либерального Андрея Дементьева на посту главного редактора «Юности» и в конечном счете погубил журнал.

Но я опять поторопился. Все это случилось гораздо позже, а тогда в редакцию шли сотни писем, и мой телефон раскалится от звонков: меня приглашали выступить в библиотеках, институтах, школах, воинских частях, на заводах и даже... в комсомольской организации центрального аппарата КГБ. Меня узнавали, останавливали на улице, чтобы похвалить за смелость и тут же доверительно сообщить, что в одной комсомольской организации было такое ЧП, по сравнению с которым мое «ЧП...» вовсе даже и не ЧП...

Давно замечено, скоропостижная слава обладает уникальным оглуляющим эффектом. Став, по выражению кого-то из журналистов, одним из «буревестников» вскоре начавшейся перестройки, я мог бы до сих пор гордо и гонорарно реять над руинами. Этим, кстати, к своему стыду, я некоторое время и занимался, тем более что следом вышла шумная повесть «Работа над ошибками» (1986), а потом не менее набуревестничавшие «Сто дней до приказа» (1987). Но по мере того, как романтика перемен преобразовывалась в абсурд разрушения, я все чаще задумывался над тем, почему именно мои повести оказались столь востребованы временем и сыграли вопреки желанию автора известную роль в крахе советской цивилизации, к которой я испытывал сложные, но отнюдь не враждебные чувства.

Согласитесь, ажиотажный интерес к моим ранним вещам свидетельствовал о том, что я восполнил некий острый дефицит, удовлетворил спрос общества. На что? На правду, конечно... Тогдашние высшие идеологи никак не могли, то ли по старости, то ли по недообразованности, уяснить, что в плюралистической мешанине мнений правду спрятать гораздо легче, чем на выхолощенных полосах официозной печати, где кривда так же очевидна, как казак, присевший в степи по нужде. Это хорошо поняли и реализовали пиарщики ельцинской

эпохи, до одури заморочившие нас единодушной разногласицей. Но я, кажется, снова забегаю вперед...

## 2. Суровые нитки

О советском дефиците, ставшем знаковым словом того времени, еще напишут исследования. Странная, если вдуматься, история: полупустые прилавки в магазинах и полные холодильники в квартирах. Однажды я с бутылкой зашел в гости к своему знакомому – молодому директору школы. «Чем бы нам закусить?» – спросил он и в раздумье открыл стенной шкаф. Там с полу до потолка стояли банки консервов, мясных, рыбных, овощных, фруктовых и прочих, не поддающихся идентификации. «Может, икоркой?» – мечтательно предположил я. «Сахалинской или камчатской?» – уточнил он. Ну в самом деле, о чем свидетельствовали многотысячные и многолетние очереди на приобретение автомобиля – о благополучии или неблагополучии советских людей? Решайте сами... Икру нельзя было купить, но можно было достать. Достать и прочитать при желании можно было и запрещенных Солженицына, Максимова, Войновича... Разумеется, строго каралось, если попался, а под одеялом – обчитайся. Я прочел, обомлел, но меня не посадили. А вот Олега Радзинского, сына известного драматурга и популяризатора, посадили: он, будучи, как и я, учителем, принес запретную книгу в школу ученикам. Нельзя!

Впрочем, если ты сегодня в условиях свободы принесешь в класс и попытаешься впарить детям «Майн кампф» или «Протоколы сионских мудрецов», тебя тоже посадят – за разжигание межнациональной розни. Закон есть закон. Юрий Петухов, неудобный, очень талантливый исторический писатель, в начале нулевых годов издал книгу, где предложил неполиткорректную версию древней истории Ближнего Востока. Если грубо, его гипотеза выглядела так: семитские племена долгое время жили под стенами хеттских городов и питались отбросами высокоразвитой арийской цивилизации. Спорно, конечно, но бывают гипотезы и почуднее. Так вот, на Петухова по заявлению бдительных граждан завели дело. Тюрьмы он избежал только благодаря гневному письму ведущих литераторов, опубликованному в «Литературной газете». Узнав, что дело закрыто, несчастный пошел на могилу к матери – поделиться радостью, там, за оградкой, и помер от сердечного приступа, не дожив до пятидесяти...

Но вернемся в мрачное советское прошлое. Борьба с дефицитом заменяла конкуренцию. В обществе провозглашенного и относительного равенства способность человека преодолеть дефицит во многом определяла его положение в социальной иерархии. И не важно, выражалось это в том, что он мог достать импортный мебельный гарнитур, добыть кожаный пиджак а-ля Дом кино или умел пробить сквозь цензуру книгу о том, о чем другим писать не дозволялось. Пробить можно было талантом, родственными связями или дачными знакомствами с партийными иерархами. Чаще – и тем и другим совокупно. Большими мастерами такого «диалога» были шестидесятники, умевшие элегантно дерзить советской власти, не выпуская из губ ее питательных сосцов. Да и Жванецкий был большим любителем почитать свои юморески на номенклатурных фазендах.

Впрочем, наша идеология в ту пору переживала кризис, связанный с медленной сменой поколений во власти. Например, давно стало ясно, что принудительный атеизм ни к чему хорошему не приведет, но терпеливо ждали, пока уйдут на покой (читай – из жизни) несколько кремлевских старцев, в юности подцепивших от Емельки Ярославского неизлечимый вирус безбожия. Или вот еще случай, как говаривал дед Щукарь. Году в 1984-м Лариса Васильева пригласила меня принять участие в составлении альманаха «День поэзии». На редколлегии мы решили напечатать большую подборку Николая Гумилева навстречу 100-летию поэта, чьи стихи, кстати, входили в вузовскую программу по истории русской литературы XX века. И про «изысканного жирафа» знал любой мало-мальски начитанный советский человек. Каково же было наше удивление, когда цензор снял всю подборку из верстки. «Как? Почему?» – «Гумилев был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре!» – был ответ. «Но он же вхо-

дит в вузовский курс!» – «Изучать – да. Пропагандировать – нет!» – отрезал уполномоченный Главлита. «Ах, так! – рассердилась Лариса Николаевна. – Я дойду до Политбюро! Гумилев – великий поэт!» И она, дама очень влиятельная, дочь конструктора танка «Т-34», жена крупного журналиста невидимого фронта, дошла-таки. Но получила тот же ответ: «Не надо раскачивать лодку!» Гумилев – замечательный поэт, но время еще не пришло. В СССР вообще жили спокойно, размеренно и неспешно, как в профсоюзном профилактории. А куда спешить-то? Законы мирового развития работают на нас. И опоздали буквально на несколько лет...

Помню, как-то и меня, молодого редактора многотиражки «Московский литератор», вызвали на Китайский проезд, в Главлит. «Ну и как это понимать?» – спросил цензор университетского вида и ткнул ухоженным ногтем в строчку поэта-фронтовика Николая Панченко:

*Зашивали суровыми нитками рот.*

Я почувствовал, как сердце и партбилет, лежавший в левом боковом кармане, сообща болезненно затрепетали. Надо было что-то отвечать, безмолвствовать в ответ на вопрос начальства – гарантированная гибель, и меня озарило: «Он фронтовик. У него было челюстное ранение...» – «Челюстное ранение? – задумчиво повторил цербер и улыбнулся. – Ну, тогда другое дело!» Вот те на... Советский читатель во всем искал фронду, подобно тому, как эротоман в любом бытовом предмете ищет сексуальную аллюзию. Какая читателю, в сущности, разница – «зашивали рот» лирическому герою в буквальном или переносном смысле? И без того все знали, что в СССР нет свободы слова. Знал это и цензор, тяготился своими обязанностями и, пользуясь формальным поводом, разрешил чуть больше, чем обычно. В конце девяностых я встретил его на книжной ярмарке, он стал издателем и выпускал популярную серию «Улица красных фонарей».

О кризисе советской экономики тоже сказано немало. Но был ли этот кризис таким уж необратимым, если на ресурсах развитого социализма мы продержались целое десятилетие, ушедшее на эксперименты, похмельные чудачества и тотальное воровство? Боже, сколько миллионеров, застроивших полмира своими замками, поднялось только на распродаже советского ВПК и распиле гигантов пятилеток! Да, мы были богатая страна с бедным народом. Теперь мы бедная страна с бедным народом.

Как-то я попал на передачу «Суд истории», разумеется, на стороне громокипящего Сергея Кургина. Вокруг Николая Сванидзе, страдающего острым инбридинговым антисоветизмом, сбилась стая «младореформаторов» во главе с рыжим бригадиром Чубайсом. Они шумно хвалились, как в 91-м спасли страну от голода. Рядом со мной сидел бывший главный банкир Геращенко и кипел тихим негодованием: «Я сейчас все про них расскажу! Спасители хреновы!» Наконец он не выдержал и бросил им что-то невнятное про какой-то мутный подзаконный акт. И горластые «спасители» испуганно затихли, словно им предъявили отпечатки их же пальцев на горле жертвы. «Почему же вы все про них не рассказали?» – спросил я, когда передача кончилась. Геращенко вздохнул: «Все равно никто не поверит, что такое можно вытворять со своей страной!» – и посмотрел на меня грустными глазами человека, причастного к страшным тайнам финансового зазеркалья.

Гуманитарный склад ума натолкнул меня на мысль, что крах советской цивилизации объясняется в основном духовно-нравственными причинами. Однако диссиденты тут ни при чем или почти ни при чем. Узок, как говорится, круг этих революционеров, страшно далеки они от народа и подозрительно близки к зарубежным спецслужбам. Подспудное или явное презрение элиты к собственной стране, к ее историческому выбору ведет к катастрофе. Так и случилось. «Контрэлита» всегда предлагает новый путь национального развития. Наша «контрэлита», приведенная Горбачевым, смогла лишь оформить условия позорной, если не пре-

ступной, капитуляции перед геополитическим противником, после чего разбежалась на ПМЖ по теплым странам.

Вот лишь один пример. Я пишу эти строки в Калининграде, куда можно долететь только самолетом. Сухопутного коридора нет. Почему? Я служил в Группе советских войск в Германии. Наша часть стояла прямо на обочине Гамбургского шоссе, по которому транзитом шли вереницы автомобилей из ФРГ в Западный Берлин. А над нами по воздушному коридору членили натовские самолеты, включая разведывательные «рамы». То есть безоговорочно капитулировавшей Германии позволили иметь сухопутную связь между разорванными частями рейха. А России, добровольно влившейся в общечеловеческое братство, не разрешили? Нет, ситуация еще хуже, позорнее: тогдашние «новомышленцы» даже не догадались поставить этот вопрос. Кто-нибудь ответил за это грандиозное головотяпство? Конечно же, ответил, и по всей строгости. Адмирал Рык, взяв власть в России, приказал ловить «врагоугодников» и «отчизнопродавцев» по всему миру, вытаскивать из приморских вилл и альпийских шато, этапировать на родину, а там сажать в «демгородки», строго охраняемые садово-огородные товарищества. Об этом я написал в 1993 году в повести «Демгородок».

### 3. Почему все рухнуло?

Почему же тогда рухнула советская власть? Отчасти из-за стабильности. В стабильные времена трудно сделать головокружительную карьеру или внезапно разбогатеть. Слово «застой» не случайно стало впоследствии ключевым. «Застой» заключался не только в том, что страна теряла темпы развития и мешкала с ответом на вызов времени, но и в том еще, что активная часть народа в буквальном смысле – застоялась. Советская власть, как женщина, безоглядно наблудившая в молодости, к старости стала чрезвычайно разборчива в новых знакомствах, инициативах и увлечениях. Кроме того, мы все были заражены верой в необратимость прогресса. Нам казалось, что, скажем, обещанное обеспечение каждой семьи отдельной квартирой осуществляется медленно не по объективным причинам экономического порядка, а из-за субъективной неповоротливости советской власти. Теперь, когда приезжаешь в город, где последняя многоэтажка построена в конце восьмидесятых, начинаешь многое понимать. А еще больше понимаешь, когда видишь, что единственный новый роскошный дом, воздвигнутый на Губернской (в недавнем прошлом Коммунистической улице) – это офис «Альфа-банка», в лучшем случае – «Газпрома».

Но тогда всем очень хотелось перемен. Прыгучий певец-композитор и, как выясняется, поэт Газманов, освоив рифму «прилетел-хотел», даже песню сочинил про «ветер перемен». Об урагане-то никто и не помышлял... Мрачный, как ветер в трубе крематория, Виктор Цой тоже хотел перемен. Тогда казалось, будущее не может быть хуже настоящего только потому, что оно – будущее, которое в советской картине мира обязано быть светлым... Неслучайно одним из первых лозунгов Горбачева стало «ускорение». А ведь, если помните, в замечательном рассказе Г. Уэллса «Новейший ускоритель» на героях от чрезмерно быстрого движения загорелись штаны. Наши штаны просто сгорели. Увы, неодолимое желание перемен овладевает массами, когда основные жизненно важные желания уже удовлетворены. Блокадники и не думали устраивать из-за мизерных пайков новую революцию наподобие той, что грянула в феврале семнадцатого из-за перебоев с завозом хлеба. Никому не приходило в голову попросить фашистов наладить снабжение в осажденном городе. Правда, странноватый поэт-обериут Даниил Хармс ходил по Невскому и высказывал пожелание, чтобы немцы поскорей взяли «колыбель революции». В результате его забрали в сумасшедший дом, где бедняга и умер. Запомним это.

Раздумья над опытом былых революций лично меня привели к переосмыслению известной ленинской формулировки о верхах, которые не могут жить по-старому, и низах, которые не хотят... Ведь «голодные» демонстрации в революционном Петрограде происходили, когда сибирские амбары ломались от хлеба. Формула о верхах и низах более подходит к бракоразводной, нежели революционной ситуации. Революционная ситуация начинается с того, что именно верхи не хотят жить по-старому. Именно верхи свергли последнего российского императора.

Когда я, паренек из заводского общежития, сочинявший стихи, впервые оказался на поэтической пирушке, устроенной в огромной цеховской квартире в Сивцевом Вражке, я поразился тому, как ее обитатели, в особенности молодые, ненавидят советскую власть. Стол ломился от невиданной снеди из распределителя, на полках стояли недоступные рядовым гражданам книги, а разговор шел в основном о том, какие «коммуняки» сволочи. Позже я понял смысл этого недовольства. Люди в ондатровых шапках уже не хотели быть номенклатурой, зависящей от колебаний политической конъюнктуры, они хотели быть незыблемым правящим классом – с гарантиями, которые дает только большой счет в банке, желательно – швейцарском. Отцы еще привычно осторожничали в выражениях, а дети с юным задором лепили напропалую. Тот же Егор Гайдар вырос, между прочим, в семье члена редколлегии газеты «Правда», сухопутного адмирала и писателя Тимура Аркадьевича – приемного сына автора «Чука и Гека». Гайдар-средний, кстати, нередко приводил сына в Дом литераторов пообедать.

Я как-то оказался за соседним столиком и слышал нервные окрики папаши: «Егор, не чавкай, Егор, не чмокай!» А Егорушке было уже под тридцать...

Это недовольство верхи искусно транслировали вниз по социальной лестнице. С чего бы вдруг один из самых благополучных отрядов советского рабочего класса – шахтеры – начал стучать касками, требуя, вы подумайте, – закрытия шахт! Их убедили, что это им выгодно. Обманули, конечно. Но к тому времени, когда они осознали «разводку», верхи уже были довольны новой жизнью и умело навязывали свое удовлетворение всему обществу. Только этим можно объяснить тот странный на первый взгляд факт, что всеобщее обнищание в начале шоковых реформ не привело к всенародному восстанию. Восстание – это спектакль, историческая постановка, требующая средств и режиссуры. А спонсоры и режиссеры уж почили на ваучерах.

Какое отношение эти пространные рассуждения имеют к моим первым повестям? Самое непосредственное. Сейчас много говорят о виртуальной реальности. Тогда, в начале 80-х, этого слова в нашем языке еще не было, но сама виртуальная реальность, конечно, была. Она была всегда. Римский император, возводя свой род к богам или героям, выстраивал именно виртуальную реальность в умах современников. В чем же особенность виртуального мира, созданного советской властью? Это был чрезвычайно оптимистичный, очищенный от всего недостойного, прекрасный и яростный мир. Если недостатки – то отдельные. Если порыв – то всенародный. Если бой – то последний и решительный. Советская власть слишком много обещала. Готовя собрание сочинений и извлекая из архива газеты с рецензиями на мои первые повести, я снова погружался в тот подзабытый виртуальный мир и вспоминал почему-то знаменитый некогда анекдот про любовника жены парфюмера. Напуганная внезапным возвращением супруга, дама закрыла дружка в сундуке, где хранился мужнин товар. Помните, чего потребовал несчастный ловелас через сутки, когда его наконец выпустили на свежий воздух? Для того чтобы прийти в себя, он потребовал немедленно поднести к его носу тот продукт пищеварительной деятельности, без упоминания о котором нынешние постмодернисты не способны связать и двух слов. Это важно!

Советский человек существовал в двух мирах – в реальном, далеком от идеала, и в идеальном, далеком от реальности. Нельзя сказать, что эти два мира не были связаны – они постепенно, точнее, скачкообразно, сближались. И главную роль в этом сближении тогда играло искусство, прежде всего – литература. Именно в литературных произведениях обкатывались идеи и новации, прежде чем лечь в основу нового идеологического дискурса. Сначала «деревенская проза», потом постановление ЦК о Нечерноземье. Бывало, правда, и наоборот, но про это чуть позже. И все же разрыв между реальностью и идеологическим мифом оставался велик. Когда человеку каждый день объясняют, что он живет если не в раю, то, во всяком случае, в предрайских кущах, столкновение с реальной жизнью ранит его особенно остро. Вы не задумывались, почему информационные блоки нынешнего телевидения перенасыщены негативной информацией? Кого-то взорвали, кто-то замерз или утонул, кого-то расчленили, кто-то проворовался, кого-то противозаконно изнасиловали... По сравнению с таким виртуальным миром сегодняшняя реальная жизнь вроде бы не так уж и страшна.

Русский человек, точнее, человек, воспитанный русской культурой, традиционно верит в целительную силу слова. Ему кажется, что, назвав зло своим именем, он нанесет ему смертельный удар. Вот почему с таким восторгом была встречена гласность. Мало кто задумывался о том, что глас вопиющего в пустыне – тоже разновидность гласности. Советская власть, выстроившая систему табу вокруг многих, как тогда выражались, негативных явлений, забыла, что табу и запреты – методы скорее детской педагогики. Взрослому надо объяснять. Честно или лживо. А народ в результате просветительской деятельности той же самой советской власти повзрослел и поумнел. То, что в двадцатые годы принимал на веру рабфаковец с горящими глазами, позднесоветский «мэнээс» брезгливо отвергал. Ну как же – он читал Сартра и Булгакова! Но он позабыл, что такое братоубийство, разруха и нищета. Не ведал он и что такое откровен-

ное предательство интересов страны властной верхушкой. Шестидесятники убедили его, что Сталин, расправляясь с троцкистами, тешил свою паранойю, а не очищал элиту от реальных и потенциальных изменников. Вместе с явной ложью советской пропаганды мыслящий советский слой отвергал и вещи совершенно очевидные, не хотел верить в навязчиво разоблачаемую советской прессой агрессивность Запада. Ну как же! Страны, где народ не стоит в очереди за пивом, не могут желать человечеству зла! Теперь, после бомбежек Югославии, онкологического разрастания НАТО, после Ирака, Ливии, Сирии, наш человек поверил. Теперь, после превращения Донецка и Луганска в прифронтовые города, он понял, что Запад устроил на Украине. Теперь, когда Россию, как геополитического шалопаю, поставили в угол экономических санкций, у него появились сомнения в добрых намерениях «партнеров». А толку? Это называется: быть мудрым на следующее утро.

Русская литература традиционно специализировалась на срывании масок и разрушении табу, нередко путая табу с национальными идеалами, которые лучше не трогать. Я тоже искренне считал здравый смысл и жажду правды выше овечьих веками святынь и возвышающих обманов. Я даже писал в «Огоньке», что не бывает правды очерняющей или мобилизующей – бывает просто правда, факт жизни, без всяких там эпитетов. Я ошибался. Я не понимал, что существует иерархия «правд». Для наглядности возьмите в руки матрешку. Вы никогда не вставите бóльшую матрешку в меньшую. А вот бóльшую правду можно при желании спрятать в меньшую. С этого, собственно, и начинается манипуляция сознанием. Простейший пример – возвращение Крыма. Малая правда очевидна: Крым был украинским, а стал российским. Значит, аншлюс? Позор хищному северному медведю! А вот вам большая правда: Крым всегда был российским, с момента падения тамошнего ханства, подвассального Стамбулу. В 1950-е годы полуостров незаконно даже с точки зрения советской процедуры отдали в административное управление Украинской ССР, входившей в Советский Союз и реальной государственности не имевшей. При развале Союза Крым не был возвращен России, хотя очевидно, что выходить из СССР республики должны были в тех границах, в каких вошли. А принадлежность территорий, «нагулянных» во время пребывания в «Красном Египте», должна решаться с помощью референдума. Такой референдум состоялся в Крыму весной 2014 года и показал, что население единодушно хочет назад, в Россию. Это большая и неоспоримая правда. Интересно, кто кого-нибудь, кроме нас? Никого. Ее засунули в малую правду и не видят в упор. Точнее, не хотят видеть.

Увы, я тоже не раз принимал малую правду всерьез, верил, горячился. Но если бы я не ошибался, я бы никогда не стал писателем. Писательство – преодоление собственных заблуждений. Кто не заблуждается – тот не творит. Осознанная ошибка – самый прямой путь к истине. Ничто так не обостряет творческие способности, как стыд за свои заблуждения. Но беда в том, что именно ложные истины чаще всего отливаются в бронзу и пишутся на знаменах, ведущих людей на разрушение надоевшего миропорядка. Потом можешь оборотиться, объясняя, что ошибался. Твоя ошибка давно уже стала правдой момента. Думаю, если бы Солженицын сжег себя на Красной площади в знак протеста против тиражирования его давнего, опровергнутого наукой утверждения, будто сталинский режим сгноил сто миллионов соотечественников в лагерях, мировое сообщество, погоревав о смерти нобелевского лауреата, продолжало бы ссылаться на полухудожественный «Архипелаг ГУЛАГ» как на документ. Но Александр Исаевич даже не извинился за свою обидную для нашей страны ошибочную гигантоманию.

Да, писатель по своей природе – мифотворец, именно поэтому, особенно смолоду, он жаждет разрушать мифы, которые навязывает ему общество. Мифы и каноны. А советский писатель был опутан канонами с головы до ног. Это не значит, что западный писатель ничем не опутан – просто там другие пути. Писатель с нормально развитым нравственным чувством всегда подсознательно ощущает разрушительную природу своего дарования и потому – в противовес, что ли, – приходит, как правило, к консервативным политическим убеждениям. Но

стоит ему начать художественно утверждать существующую систему социальных мифов, как это заканчивается творческой катастрофой. Такой вот грустный парадокс...

Анализируя судьбу моих первых трех повестей, я думаю иногда вот о чем. Повинуясь внутреннему велению, я (как и некоторые другие мои ровесники-писатели) словно достиг края советской литературы и выглянул вовне: дальше начинался уже совсем иной мир, строящийся на других принципах и идеях. В отличие от обитателей литературного андеграунда я оставался по мироощущению и поведению не только советским человеком, но и советским писателем. Однако какая-то неведомая сила все же гнала меня и толкала к зыбкой грани. Мои первые повести – это еще советская литература, но в них уже есть недопустимая для советской литературы концентрация нравственного неприятия существующего порядка вещей. Возможно, именно эта двойственность и нашла такой живой отклик в душах читателей, тоже балансирующих в то время на грани перемен.

Мудрый Сергей Михалков когда-то давно, поддерживая меня в борьбе за публикацию «Ста дней до приказа», сказал в своей обычной насмешливо-серьезной манере кому-то из партийного начальства:

– Вы с Поляковым поаккуратнее. Он последний советский писатель...

#### 4. «Стой, кто идет!»

Особенно пристально власть предрержащие надзирали за соблюдением канонов, когда дело касалось опор общества, а к их числу принадлежали, безусловно, сама власть, школа, армия... О них-то я и написал.

В армию я попал осенью 1976 года, после окончания педагогического института, немного поработав в вечерней школе № 27, располагавшейся в дореволюционном здании на Разгуляе. Кажется, раньше там была гимназия... Теперь 27-й вечерней школы нет. Власть больше не борется за то, чтобы каждый гражданин имел как минимум среднее образование. Власть борется за то, чтобы каждый гражданин платил налоги.

Кстати, именно в этой части старой Москвы прошла первая половина моей жизни. Из Лефортова, из роддома, что окнами на Немецкое кладбище, я был привезен в огромную коммунальную квартиру на углу Маросейки и Архипова, недалеко от памятника героям Плевны. В комнатке обитали мои родители, бабушка, тетя, незамужняя сестра отца, и я. Единственное окно было в потолке и выходило на чердак. Младенческая память сохранила цветастую занавеску, отделявшую наш семейный угол, и это запыленное окно, по которому время от времени металась тень. Большая тень – кошка, маленькая – мышка. В схожих условиях тогда жило большинство москвичей. Тех, кто, скитаясь по многокомнатной отдельной квартире, страдал от тоталитарного произвола, было совсем немного. Потом родители получили комнатку в заводском общежитии маргаринового завода в Балакиревском переулке, рядом с товарными путями Казанской железной дороги – Казанки. Очередь в туалет и к умывальнику была обычным делом, а когда нам дали комнату побольше, со своим умывальником, – это казалось головокружительным комфортом вроде президентского номера в отеле. Лишь в 69-м мы переехали в отдельную квартиру в новый дом в трех автобусных остановках от станции Лосиноостровская, окрестности которой в ту пору были еще застроены деревянными теремами – остаток дореволюционного дачного Подмосковья. Учился я в школе № 348 на углу Балакиревского и Переведеновского переулков. Рядом, на Спартаковской площади, располагался Первомайский дом пионеров, где я искал себя в изостудии и кружке струнных инструментов. Там теперь театр «Модерн», где идет моя комедия «Он, она, они».

На другой стороне Бакунинской улицы и сейчас можно видеть старообрядческую церковь – там я занимался боксом в секции «Спартака». Однажды на тренировке я пропустил сильный удар в лоб и неделю не ходил в секцию: жутко болела голова. Когда же я снова появился, тренер строго спросил:

– Почему пропустил тренировки?

– Голова болела.

– Грипп, что ли?

– Нет... Помните, я удар пропустил?

– Помню... – Тренер нахмурился. – От одного удара у тебя неделю болела голова? Вот что, мальчик, бокс не твой спорт. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видел!

Возможно, благодаря бдительности опытного тренера я имею сейчас умственную возможность писать эти строки. Кто знает...

Окончив школу, я поступил в Педагогический институт имени Крупской на улице Радио, близ Лефортова, в двадцати минутах ходьбы от родного общежития. Вернувшись посреди учебного года из армии, я попал на работу в Бауманский райком ВЛКСМ на улице Лукьянова в трех минутах ходьбы от 27-й школы. Кстати, имя Александра Лукьянова, летчика, Героя Советского Союза, носила наша пионерская дружина, и я, как отличник и активист, ездил в Волхов, чтобы возложить венок к стеле на месте его гибели. А возле Елоховского собора в классическом особняке помещалась библиотека имени Пушкина, где я пропадал, если выдавалось свободное время.

Весь очерченный кусочек старой Москвы можно за час-полтора обойти прогулочным шагом. Эти места и стали в моих книгах несуществующим Краснопролетарским районом столицы, если хотите, моей Йокнапатофой и Гренландией.

Но вернемся в 1976-й, когда из школьного учителя я превратился в солдата. В Орехове-Борисове собрались проводить меня в армию все тогдашние друзья-товарищи: Мишка Петраков, Петька Коровяковский, поэты Александр Аронов, Игорь Селезнев и Петр Кошель с женой Инессой Слюньковой – дочкой крупного партийного деятеля и будущим известным историком архитектуры. В среде творческой интеллигенции призыв в армию воспринимался тогда как общечеловеческая трагедия, и пили в основном за то, чтобы я не растерял свой талант в марш-бросках и не замотал в портянки. Мрачный по обыкновению Кошель дал совет: «Не лезь куда не надо и не делай то, чего не просят!» Потом Петя, щуплый, как канатоходец, приревновал жену к своему огромному тезке Коровяковскому, и мы долго их мирили.

– Прошу вывести негодяя вон! – кричал Кошель и указывал на дверь жестом римского полководца.

– Вот еще! – ухмылялся в усы второй Петя и наливал себе новую рюмку.

– Он большой поэт! – объяснял я другу детства.

– А я знаю китайский! – отвечал тот и снова выпивал.

Наконец мы остались с Натальей вдвоем. Нам предстояло налюбоваться на целый год! Впрочем, не все было так трагично. Еще летом я встретил в коридоре «Московского комсомольца» Лешу Бархатова, одетого в подогнанную «парадку» с ефрейторскими погонами. Я его знал: до призыва он работал в «МК» корреспондентом. У меня к тому времени тоже, кстати, имелось удостоверение внештатного корреспондента этой газеты. Разговорились, и я скорбно сообщил: моя аспирантура накрылась медным тазом и осенью мне идти в армию.

– Гениально! Ты-то мне и нужен!

Оказалось, он два года отслужил в части, расположенной в Москве и приданной столичному пожарному управлению. Леша выполнял функции, как сказали бы сегодня, пресс-секретаря, сочиняя статьи для разных изданий об опасности неосторожно брошенного окурка. Осенью заканчивался срок его службы, и руководство попросило подыскать среди журналистов-призывников замену.

– Да ведь ты писал про пожарных! – воскликнул он. – Сегодня же доложу наверх!

– Еще бы! – солидно кивнул я.

Речь шла о фельетоне «Сигарета, сигарета...», опубликованном в «Московском комсомолец» под моей фамилией. Меня и в самом деле направляли в пожарную часть для сбора материала, но я по неопытности совершенно запутался в фактах безответственного обращения граждан с огнем, и текст мне за бутылку сочинило признанное сатирическое перо «МК» – Володя Альбинин.

– Учись, пока я жив! – сказал он и за полчаса, пока я бегал за бутылкой, накатав «подвал».

Умер Альбинин от цирроза печени.

Бархатов перезвонил мне через несколько дней, я съездил куда надо и был представлен краснолицему майору, он в ходе беседы задавал наводящие вопросы, выясняя, не склонен ли я к спиртному, – проблема, видимо, болезненная для пожарных подразделений. Наконец майор сказал, что я им подхожу.

– А как я попаду к вам с пункта призыва?

– Не волнуйся, наш офицер «купит» тебя на городском призывном пункте.

– Как это «купит»?

– Ну заберет, заберет. Пока карантин и «школа молодого бойца», придется посидеть в казарме, а потом на выходные будешь ездить к жене. Но если в воскресенье в 20.00 в часть не вернулся – дезертир! Понял?

– Так точно, товарищ майор! – расцвел я.

В тот миг у меня во всем свете было два любимых существа – жена Наталья и военизированная пожарная охрана. Однако закончилось все очень плохо. Тщетно я ждал на городском пункте обещанного офицера-покупателя. Он так и не пришел. Бродя в мучительном предчувствии по этажам, я вдруг столкнулся нос к носу с моим недавним учеником Зелепукиным. Остриженный наголо и одетый, как и я сам, в какие-то обноски, он сначала оторопел, а потом заржал: «Юрий Михайлович! А вас-то за что?!»

Уже вернувшись из армии, я узнал, что произошло. Такую же повестку, как и я, получил сотрудник «Комсомольской правды» Александр Шумский, тоже, кстати, поэт. Он-то и занял мое место при пожарном начальстве, которое, забыв про обещания, предпочло известного журналиста из всесоюзного издания какому-то внештатнику городской молодежи. Понять их можно. Шумский, очень талантливый парень и мажор, вскоре после возвращения из армии погиб, разбившись на автомобиле.

А я стал рядовым в/ч пп 47573, заряжающим с грунта батареи самоходных артиллерийских установок, и обменял российскую метель на германскую зимнюю сырость: наш полк стоял в городке Дальгов, неподалеку от Западного Берлина. Теперь это уже Берлин. Узенькое Гамбургское шоссе, плотно обсаженное липами, стало широкой автострадой. На месте военного городка – коттеджный поселок и скидочная деревня. Если внимательно присмотреться к некоторым домам, можно различить в них черты былой казармы, облагороженной экономными немцами. В клубе, стилизованном под замок, сначала сделали музей советской оккупации, а теперь там центр толерантности. Кое-где сохранились ангары и многоэтажные заколоченные казармы – память о несметной советской силе, стоявшей здесь сорок пять лет и ушедшей по своей воле. Американцы, кстати, не закрыли в Германии ни одной базы. За опасным союзником, имеющим такой опыт наступательных войн, надо приглядывать. Между прочим, в ФРГ недавно разрешили переиздать, как исторический памятник, «Майн кампф». И что же? Книга побила все рекорды продаж.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.